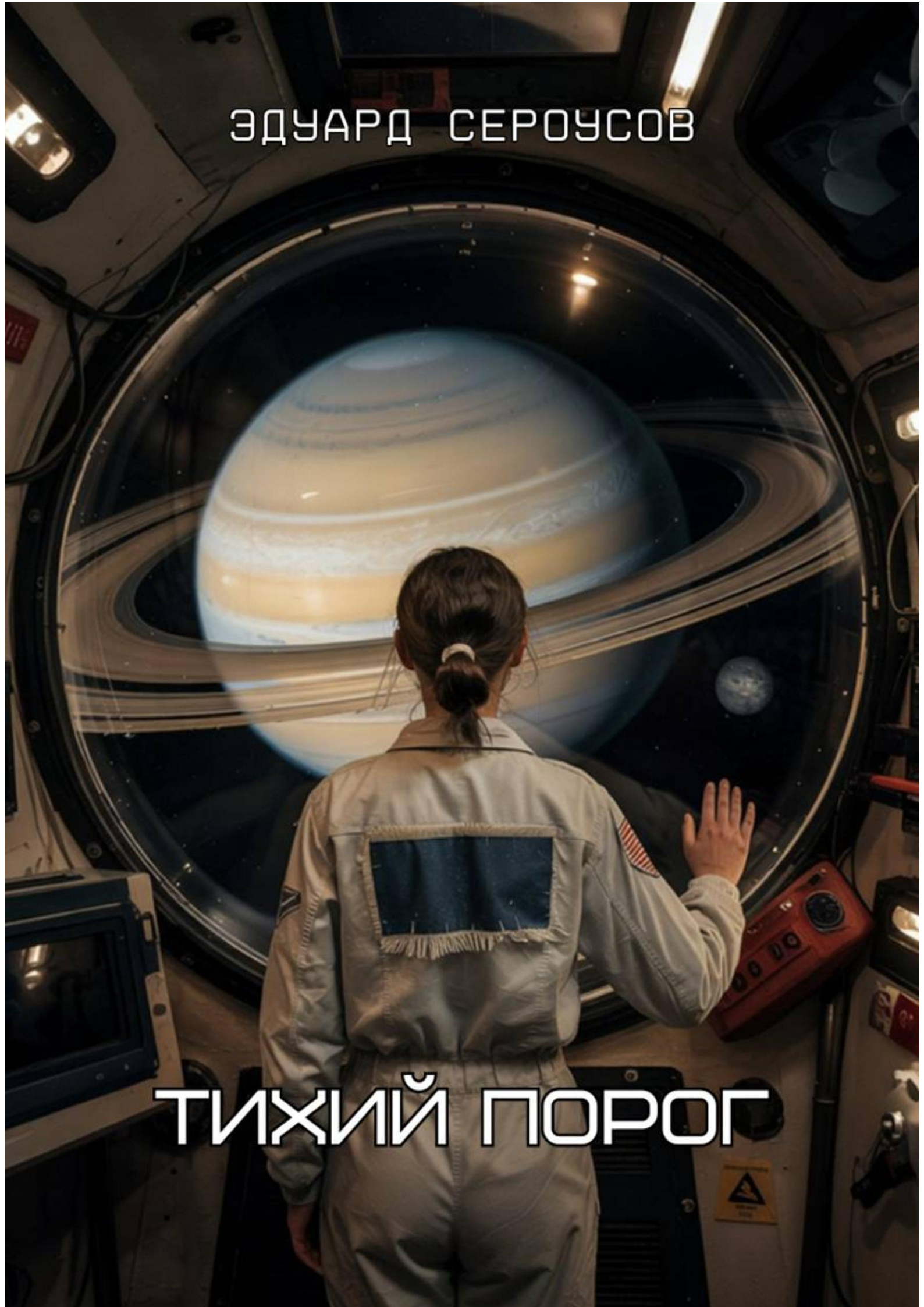


ЭДУАРД СЕРОУСОВ

ТИХИЙ ПОРОГ



Эдуард Сероусов

Тихий порог

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Тихий порог / Э. Сероусов — «Автор», 2026

2187 год. На орбите Сатурна активируется инопланетный объект — Маяк. Его сигнал содержит не приветствие, а рецепт: инструкцию по необратимой перестройке человеческого мозга. Цена контакта — способность к насилию. Плата за вход в галактическое сообщество — клыки вида. Майор Лена Корсакова, лучший тактик ближнего боя в системе Сатурна, должна защитить научную миссию от трёх враждующих фракций, инопланетного разума, который не понимает концепцию вреда, и объекта-Сборщика, летящего к Земле с невозможной скоростью. Но главный враг — внутри. Потому что всё, чем она является, — именно то, что придётся отдать. Все иллюстрации сгенерированы в программе Ideogram.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть I: Сигнал	5
Глава 1: Одиннадцать	5
Глава 3: Транзит	30
Глава 4: Оболочка	39
Глава 5: Резонанс	49
Часть II: Эскалация	61
Глава 6: Приказ	61
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Эдуард Сероусов

Тихий порог

Часть I: Сигнал

Глава 1: Одиннадцать

Станция «Диона», тренировочный комплекс. День 0, за шесть часов до активации Маяка.

Манекен дёрнулся.

Корсакова увидела это периферийным зрением – рывок слева, на два часа, – и её тело среагировало раньше, чем сознание сформулировало угрозу. Пальцы сомкнулись на поручне, магнитные подошвы щёлкнули, фиксируя её к палубе, и мир замер на мгновение в стерильном белом свете тренировочного модуля.

Не манекен. Рамирес. Он толкнул манекен, разворачиваясь, и пластиковая фигура в оранжевом комбинезоне – «заложник», согласно сценарию – поплыла по дуге к дальней переборке, нелепо раскинув шарнирные руки.

– Рамирес, стоп.

Голос Корсаковой прозвучал негромко. Она никогда не повышала голос в бою – понижала. На два тона ниже, чем в обычном разговоре. Так, что приходилось прислушиваться, и в самом акте прислушивания люди переставали паниковать.

– Стволы вниз. Все – стволы вниз.

Четверо бойцов «Кайроса», рассредоточенных по тренировочному модулю в положениях, которые имели смысл только в невесомости, замерли. Танака висел вниз головой относительно Корсаковой, прижимая учебную флешетту к переборке – его магнитные ботинки цеплялись за потолочную панель. Окафор перекрывала левый коридор, упершись спиной в переборку и ногами в противоположную стену – положение «распорка», идеальное для стрельбы в условиях микрогравитации. Хассан контролировал шлюзовой проём, из которого они вошли тридцать секунд назад.

Рамирес стоял посреди отсека, и его флешетта была направлена в голову манекена.

Не «заложника». Манекена. Оранжевый комбинезон, белый номер «4» на спине, пластиковое лицо без выражения. Корсакова видела, как ствол подрагивает в руках Рамиреса – мелко, едва заметно, так дрожат руки человека, который очень, очень старается их удержать.

– Дышим, – сказала Корсакова.

Тренировочный модуль «Дионы» был цилиндром двенадцати метров в длину и шести в диаметре, обшитым мягкими панелями, которые имитировали стандартную внутреннюю компоновку грузового транспортника класса «Меркурий». Воздух пах рециркуляцией – тот самый запах, который преследовал каждого, кто провёл больше полугода за пределами земной орбиты: пластик, озон, лёгкая нотка чужого пота, которую фильтры убирали, но память сохраняла. Температура семнадцать градусов – стандарт для тренировочных зон, где люди двигаются и потеют. Под подошвами магнитных ботинок палуба гудела – ровный, монотонный гул, передававшийся через металлические конструкции «Дионы» от вращающегося сегмента станции. Так гудели все станции. Так гудел весь обитаемый космос. Корсакова давно перестала это замечать.

Рамирес опустил оружие. Медленно, контролируемо – так, как учили. Предохранитель. Ствол к полу. Руки по швам. Лицо – каменное, только желваки ходят под скулами.

– Чисто, – сказал он. Голос ровный. Слишком ровный.

Корсакова отцепила магнитные подошвы и оттолкнулась от палубы – плавно, привычным движением, которое стоило ей трёх лет тренировок и одного сломанного запястья. В микрогравитации «Дионы» – на тренировочной палубе центрифугу отключали – тело весило граммы. Каждое движение – расчёт: слишком сильный толчок уносит к потолку, слишком слабый оставляет висеть, как идиота. Она скользнула к Рамиресу, гася инерцию рукой о стойку.

– Рамирес.

– Майор.

Он не смотрел на неё. Смотрел на манекен, который медленно вращался у дальней стены, бессмысленно и мирно. Оранжевый комбинезон. Белая четвёрка.

Корсакова знала, что он видит. Не пластик и не номер. Он видит коридор транспортника «Калипсо» – тесный, с порванными кабелями и аварийным красным светом, и плывущие тела в таких же оранжевых комбинезонах, только настоящих, и номера на них были не тренировочные, а инвентарные, потому что мёртвым людям присваивают инвентарные номера, это процедура, и процедура – единственное, что удерживает рассудок, когда вокруг тебя одиннадцать трупов.

– Выйди, – сказала она. Тихо. Не приказ – разрешение. – Пять минут. Умойся.

Рамирес кивнул. Коротко, по-военному – опустил подбородок на сантиметр и вернул обратно. Отстегнул учебную флешетту, закрепил в настенный зажим, оттолкнулся к шлюзу. Хассан молча отодвинулся, пропуская его. Никто не посмотрел вслед. Это был не первый раз.

Корсакова подождала, пока шлюзовая мембрана закроется за ним. Потом повернулась к остальным.

– Перезапуск. Сценарий три-один, от входа. Танака – ты за первого. Окафор – прикрытие. Хассан – контроль периметра. Я играю за агрессора.

Танака перевернулся – в невесомости это выглядело как ленивый кувырок – и поймал учебную флешетту, которую Окафор бросила ему через модуль. Оружие летело по прямой, без дуги, без баллистической кривой: в микрогравитации Ньютон упрощался до первого закона. Объект в движении остаётся в движении. Танака перехватил флешетту левой рукой, правой зафиксировался за поручень и крутанул предохранительный диск.

– Готов.

Они были хороши. Корсакова знала это так, как инженер знает свою машину – не из гордости, а из понимания характеристик. «Кайрос» был лучшим CQB-подразделением UNSA в системе Сатурна, что на практике означало: лучшим в радиусе полутора миллиардов километров от Солнца. Шесть человек, не считая её. Шестеро специалистов по ближнему бою в невесомости – abordаж, защита, эвакуация. Каждый прошёл двухлетнюю программу, которая начиналась с трёхсот кандидатов и заканчивалась двадцатью. Каждый умел стрелять, двигаться и думать в трёх измерениях одновременно – навык, который земной мозг осваивал с трудом и никогда до конца.

Она перехватила манекен, вернула его на штатное место – зажим у переборки, руки вдоль тела, пластиковое лицо обращено к входу – и заняла позицию агрессора. Левый коридор, два метра от шлюза. Учебная флешетта в руках – облегчённая копия боевой «Иглы-7», стреляющая маркерами вместо вольфрамовых игл. Маркеры оставляли синие пятна на мягких панелях и скафандрах. На теле – синяки размером с кулак. Достаточно, чтобы помнить.

Корсакова активировала таймер на дисплее шлема. Обратный отсчёт – тридцать секунд.

Тренировка – это повторение. Повторение – это мышечная память. Мышечная память – это то, что работает, когда мозг захлёбывается адреналином и забывает, как дышать. Корсакова тренировала «Кайрос» каждый день – шестичасовая вахта, потом два часа в модуле. Не потому что они были недостаточно хороши. А потому что «достаточно хорошо» – это слова человека, который ещё не видел, как быстро космос убивает тех, кто расслабился.

Обратный отсчёт: десять секунд.

Она закрыла глаза. Одна секунда темноты.

В темноте – всегда одно и то же. Не кошмар. Кошмар предполагает искажение. Это было точнее кошмара – память, сохранённая с фотографической чёткостью, которой она не хотела и не могла избавиться. Транспортник «Калипсо». Орбита Юпитера. Восемнадцать месяцев назад.

Звук. Не взрыв – хуже. Шипение. Тонкое, пронзительное, нарастающее – звук воздуха, уходящего через пробоину в корпусе. Человеческое ухо эволюционировало миллионы лет, чтобы различать шорох змеи в траве, – и этот же механизм превращал шипение декомпрессии в сигнал, от которого всё внутри леденело.

Потом – крик. Один, короткий, захлебнувшийся. Бортинженер Чжоу, четвёртый отсек. Крик оборвался не потому, что Чжоу замолчал, а потому что воздух, несущий звук, закончился быстрее, чем сознание.

И – тишина. Тишина невесомости, в которой слышно только собственный пульс и шум крови в ушах, и этот звук никогда, никогда не бывает достаточно громким, чтобы заглушить то, что ты слышал секунду назад.

Три секунды. Корсакова позволяла себе три секунды. Потом – открывала глаза.

Таймер: ноль.

– Вход, – сказала она.

Шлюзовая мембрана разошлась, и Танака пошёл первым – быстрый, плавный толчок от переборки, тело сгруппировано, флешетта прижата к плечу. Он влетел в модуль и мгновенно сместился вправо, освобождая линию огня для Окафор. Стандартный вход: первый забирает угол, второй контролирует центр. В гравитации это называлось «порог» – преодоление дверного проёма, самый опасный момент любого штурма. В невесомости порогом было всё пространство: нет пола, нет стен, нет потолка, угрозу несёт каждый квадратный метр сферического объёма.

Окафор вошла через полторы секунды – слишком медленно, отметила Корсакова. В реальном абордаже эта секунда стоила бы жизни. Но Окафор компенсировала задержку позицией: влетев в модуль, она тут же ушла «на потолок», зафиксировавшись магнитными ботинками на верхней панели. Теперь они контролировали два уровня – горизонтальную и вертикальную плоскости. Хассан закрыл шлюз за собой, перекрывая отступление.

Корсакова стреляла первой.

Два маркера – в Танаку и Окафор, одновременно, обеими руками. Флешетта не давала отдачи в привычном смысле – электромагнитный разгон пятиграммового маркера создавал импульс, эквивалентный лёгкому толчку в плечо. Но «лёгкий толчок» в невесомости – это вектор, это вращение, это потеря ориентации, если ты не упёрся во что-то спиной. Корсакова была упёрта – магнитные ботинки, левая рука на поручне – и поэтому выстрел лишь слегка качнул её назад. Танаку и Окафор качнуло сильнее.

Танака ответил мгновенно – маркер прошёл в десяти сантиметрах от шлема Корсаковой и с мягким хлопком впечатался в мягкую панель за её спиной. Близко. Корсакова дёрнулась – не от страха, от расчёта: смещение на двадцать сантиметров влево, уход за стойку. Тело сработало быстрее мысли, и это было правильно: в SQV думает тот, кто мёртв.

– Два часа! – крикнул Хассан, обозначая вектор.

Окафор развернулась на потолке – магнитная подошва скрипнула по панели – и дала короткую серию. Три маркера. Два ушли в стену. Третий попал Корсаковой в бедро. Синее пятно расплылось на ткани тренировочного комбинезона. В реальном бою это был бы вольфрамовый стержень длиной три сантиметра, летящий со скоростью семьсот метров в секунду. Бедренная артерия. Две минуты до потери сознания, четыре – до смерти.

– Поражение. Отбой.

Корсакова разжала хватку на поручне и позволила себе медленно дрейфовать к центру модуля. Мышцы ног горели – тренировка длилась второй час, и даже в микрогравитации напряжение от постоянной фиксации магнитными ботинками превращало икры в камень. Она перевернула флешетту, поставила на предохранитель.

– Танака. Время входа – приемлемо. Позиция после входа – хорошо. Но ты прижался к правой стене, и если бы у меня был партнёр слева, ты был бы мёртв до того, как увидел бы вспышку.

– Понял.

– Окафор. Задержка при входе – секунда три. На тренировке – допустимо. На реальном абордаже – нет. Потолочная позиция – отлично. Серия – три из трёх попаданий, два из которых пришлись в стену. В невесомости нет «подавляющего огня». Каждый маркер, который ушёл в стену, – это перемещённый объект, это рикошет, это изменение твоего вектора. Стреляешь – попадаешь. Не попадаешь – не стреляешь.

– Да, майор.

– Хассан. Контроль периметра – хорошо. Почему не стрелял?

Хассан – широкоплечий, молчаливый, с коротко стриженной головой и шрамом от ожога на левой щеке – пожал плечами. Пожатие плечами в невесомости – отдельный навык: нужно было компенсировать движение, иначе жест превращался в медленное вращение.

– Не было чистого сектора, – сказал он. – Танака и Окафор закрывали линию огня.

– Верно. Запомни: иногда лучший выстрел – не сделанный.

Корсакова подплыла к настенной панели, вытянула пакет с водой из держателя и сжала клапан. Тёплая, с металлическим привкусом – фильтрованная и рециркулированная, как всё на «Дионе». Вода из мочи, которая была водой из мочи, которая когда-то была водой из кометного льда, доставленного танкером с Энцелада. Рециркуляция. Космос – это замкнутый контур: воздух, вода, отходы – всё крутится по кругу, и если думать об этом слишком долго, начинает тошнить.

Она не думала об этом слишком долго. Она думала о Рамиресе.

Шлюзовая мембрана разошлась, и он вернулся – молча, как уходил. Лицо мокрое: умылся, как она и сказала. Глаза – спокойные. Слишком спокойные. Корсакова знала это выражение. Она видела его в зеркале каждое утро.

– Сержант.

– Майор.

– Разбор. Инцидент с заложником.

Рамирес стоял перед ней – не вытянувшись по стойке, не расслабленно. Просто стоял. Магнитные ботинки держали его на палубе, руки – вдоль тела. Он был на голову выше Корсаковой и шире в плечах вдвое, и в этом несоответствии – тренировки с весами давались ему легче, чем кому бы то ни было в отряде – была ирония, которую он сам понимал: в невесомости масса – не преимущество. Масса – это инерция. Инерция – это то, что не даёт тебе остановиться, когда надо остановиться.

– Манекен, – сказал он. – Четвёрка. Дёрнулся.

– Манекены не дёргаются.

– Этот – дёрнулся. Я его толкнул при входе. Инерция. Он поехал, я увидел движение, среагировал.

Корсакова смотрела на него. Не мигая. Не потому что хотела давить – потому что искала.

– Ты среагировал на манекен, Рамирес. Ты навёл оружие на заложника.

– На манекен.

– На заложника. В сценарии – заложник. В твоей голове – что?

Пауза. Рамирес скрипнул зубами – она услышала это даже через пять метров, или ей показалось, но она знала этот звук, потому что слышала его восемнадцать месяцев назад, в шлюзе «Калипсо», когда они грузили тела.

– Движение, – сказал он наконец. Голос ровный. – Два часа. Периферия. Среагировал на движение. Не на объект.

– Рамирес.

– Майор.

– Когда последний раз был у Мёрфи?

Мёрфи – бортовой психолог «Дионы». Ирландец с тихим голосом и манерой молчать так, что ты сам начинал говорить, лишь бы заполнить пустоту. Рамирес ходил к нему раз в две недели. Это не было секретом – в «Кайросе» секретов не было. Не могло быть. Когда ты доверяешь человеку прикрывать твою спину в невесомости, где каждый рикошет – потенциальный труп, ты знаешь о нём всё. Или погибаешь.

– Вторник.

– Сегодня среда. Сходи ещё раз.

– Мне не—

– Рамирес. Это не вопрос.

Он посмотрел на неё. Секунду. Две. Потом кивнул – тем же коротким кивком, опустил подбородок, вернул. Развернулся и поплыл к оружейной стойке, закреплять флешетту.

Корсакова допила воду. Скомкала пакет и сунула в утилизатор – пневматический зажим проглотил мусор с тихим чмоканием. На дисплее тренировочного модуля горели результаты: время прохождения сценария, точность стрельбы, координация группы. Цифры были хорошими. Цифры всегда были хорошими.

Цифры ничего не значили, когда человек наводил оружие на манекен и видел не пластик.

Она знала, что Рамирес видел. Не потому что он рассказывал – он не рассказывал, и она не спрашивала, потому что спрашивать означало бы признать, что она тоже это видит, а признавать это вслух она не собиралась. Она знала, потому что была там.

Корвет охранения «Калипсо». Юпитер. Восемнадцать месяцев назад.

Стандартный рейс: грузовой транспортник «Калипсо» – тридцать один человек экипажа, восемь тысяч тонн редкоземельных элементов с Каллисто. Корсакова – командир охранной группы: шестеро бойцов «Кайроса», она седьмая. Задача – сопровождение через «красную зону» между Ганимедом и Каллисто, район, где фронтальные пиратские группы перехватывали грузовики, пользуясь слепыми зонами радаров UNSA.

Пираты пришли на двух катерах – бывшие ремонтные боты, переоборудованные кустарно, но с реальным оружием: кинетические автопушки и абордажные заряды. Восемнадцать человек. Они знали расписание «Калипсо», знали маршрут, знали, что охранение – одна группа SQB. Кто-то слил информацию. Корсакова так и не узнала кто.

Абордаж произошёл в четвёртом и седьмом отсеках одновременно. Два пробоя: направленные заряды прожгли корпус и впустили пиратов – в вакуумных скафандрах, с автоматическим оружием, с заготовленными маршрутами. Они шли за грузом. Экипаж был расходным материалом.

Корсакова стояла перед выбором, на который у неё было одиннадцать секунд. Одиннадцать секунд – время, которое оставалось до того, как пираты в четвёртом отсеке перережут силовую кабель и обесточат рулевое управление. После этого «Калипсо» стал бы бесконтрольной болванкой на орбите Юпитера, и тридцать один человек превратились бы в заложников.

Четвёртый отсек – одиннадцать членов экипажа. Седьмой – двадцать.

Корсакова направила «Кайрос» в седьмой.

Они отбили абордаж за девять минут. Шестеро пиратов – мертвы. Двое – обездвижены. Из двадцати членов экипажа в седьмом отсеке выжили все. Рамирес был одним из тех двадцати

– техник корвета охранения, прикомандированный к «Калипсо» для ремонтных работ. Он был вооружён строительным лазерным резаком и готов был резать ублюдков пополам, когда «Кайрос» вошёл.

В четвёртом отсеке пираты перерезали кабель. Обесточили рулевое. Захватили двигательный узел. Когда «Кайрос» добрался туда – двадцать три минуты спустя, после перезавхвата мостика и восстановления контроля – одиннадцать человек были мертвы. Трое – от декомпрессии: пираты вскрыли переборку для устрашения. Шестеро – застрелены. Двое – удушье: CO₂ при отключённых скрубберах.

Одиннадцать.

Корсакова знала их имена. Не лица – руки. Она не могла объяснить это даже себе. Память работала избирательно, жестоко, и она запоминала детали, которые не имели значения и имели всё значение одновременно: обгрызенные ногти бортинженера Чжоу. Татуировку-браслет на запястье навигатора Петрович. Мозоль на большом пальце медика Хауэлла – от стилуса, которым он вечно что-то записывал на планшете. Корсакова видела их руки, плавающие в невесомости четвёртого отсека, в красном свете аварийных ламп, и она знала – будет видеть их всегда.

Решение было правильным. Комиссия UNSA это подтвердила. Двадцать – больше, чем одиннадцать. Седьмой отсек – ближе, чем четвёртый. Время критично. Всё правильно. Всё арифметически, тактически, по-уставу правильно.

Она знала это. И это ничего не меняло.

Корсакова стояла в тренировочном модуле станции «Диона», одиннадцать секунд назад закрыв глаза и увидев то, что видела всегда, и три секунды спустя открыв их и продолжив работу. Три секунды. Её личный протокол. Не терапия, не метод – привычка. Три секунды темноты, одиннадцать лиц, нет, рук – и обратно.

Она посмотрела на часы. Четырнадцать тридцать семь, стандартное время Сатурна. Тренировка заканчивалась в пятнадцать ноль-ноль. Двадцать три минуты. Хватит на два полных прогона сценария.

– Перезапуск, – сказала она. – Сценарий пять-два. Двойной вход. Танака и Окафор – левый шлюз. Хассан и Рамирес – правый. Полная синхронизация. Рамирес, ты на первом.

Рамирес обернулся от оружейной стойки. Его лицо было спокойным – настоящим спокойным, не маской. Он посмотрел на Корсакову, и в его взгляде было то, что она не хотела видеть и видела каждый раз: благодарность. Не за приказ идти к психологу. За то, что она не сказала «ты отстранён». За то, что позволила ему стоять рядом. За то, что не отняла у него единственное, что у него осталось: работу.

– Есть, майор, – сказал он. И едва заметно – на миллиметр, не больше – улыбнулся.

Они отработали два прогона. Сценарий пять-два – двойной синхронный вход, четыре бойца, два шлюза, перекрёстные сектора огня. Сложнее, чем одиночный: нужно учитывать не только противника, но и своих в смежном коридоре. Каждый выстрел – это вектор, проходящий через объём модуля и выходящий с другой стороны, где может быть партнёр. В невесомости нет «своих стен» – нет стен вообще, есть пространство, и пуля (игла, маркер, что угодно) летит вечно, пока не встретит массу.

Первый прогон: семнадцать секунд, два «поражения» у группы, одно – у агрессора. Неудовлетворительно. Танака и Рамирес вошли с рассинхроном в полсекунды, и эта половина секунды создала слепую зону, которой Корсакова (за агрессора) воспользовалась мгновенно.

Второй прогон: тринадцать секунд, ноль «поражений» у группы. Синхронизация – идеальная. Рамирес двигался как машина: точно, экономно, ни одного лишнего импульса. Его тело – сто два килограмма мышц и кости – скользило в невесомости с грацией, которая противоречила массе. Он стрелял дважды, попал дважды. Маркеры ударили Корсакову в грудную пластину с интервалом в четыре десятых секунды. В реальном бою это были бы две вольфрамовые иглы в сердце.

– Чисто, – сказал Рамирес, и в этом слове было то, чего Корсакова ждала: профессионализм, не компенсирующий травму – вопреки ей.

– Отбой. Разбор – коротко: хорошо. Чистим модуль, укладка, свободны в пятнадцать ноль-ноль.

Они убрали оборудование молча – привычная хореография: флешетты в стойки, маркеры – подобрать (они плавали по модулю, как мелкие синие шмели), манекены – в зажимы. Мягкие панели – осмотр на повреждения. В тишине было слышно, как гудит палуба, как щёлкает система жизнеобеспечения, как где-то далеко в недрах «Дионы» работает насос рециркуляции. Звуки станции – монотонные, предсказуемые, успокаивающие. Звуки, означающие, что всё функционирует, все живы, воздух есть, вода есть.

Корсакова собирала маркеры. Мелкие пластиковые цилиндрики, синие от краски, невесомые – она ловила их в ладонь и сыпала в контейнер. Простая механическая работа, которой можно заниматься, пока мозг обрабатывает то, что мозг обрабатывает всегда.

Рамирес.

Она знала его четыре года. Он пришёл в «Кайрос» сержантом после двух лет на патрульных катерах – стрелок с лучшими показателями в своём выпуске, спокойный, молчаливый, с тем особенным чувством юмора, которое появляется у людей, слишком много видевших: чёрный, неуместный и спасительный. На «Калипсо» он был прикомандированным – техник, не боец. Но когда пираты вскрыли корпус, он схватил резак и встал в проём, и держал его, пока «Кайрос» не пришёл.

После «Калипсо» он вернулся в «Кайрос» и ни разу не заговорил о том, что произошло. Не с ней. Не с кем-либо, насколько она знала. Мёрфи, наверное, знал больше – но Мёрфи был связан конфиденциальностью, и Корсакова не спрашивала. Она видела достаточно: дрожь рук при ложных тревогах. Бессонницу, которую он маскировал ранними тренировками. Глаза, которые иногда смотрели сквозь стену в другое время и другое место.

Она не отстранила его. Каждый медицинский протокол говорил, что должна. Каждая инструкция UNSA по кадровому составу спецподразделений указывала: ПТСР – основание для перевода на нестроевую. Каждая директива, каждый параграф устава.

Корсакова не отстранила его, потому что знала: если отстранить каждого, кто несёт в себе «Калипсо», в «Кайросе» не останется никого. Включая её.

Она поймала последний маркер – он плыл у самого шлюза, вращаясь – и бросила в контейнер.

– Укладка завершена, – доложил Хассан.

– Свободны. Отдых до двадцати ноль-ноль, потом – ночная вахта по графику.

Они уходили через шлюз – по одному, как и входили, привычка, выработанная до автоматизма. Танака первый, Окафор за ним, Хассан замыкающий. Рамирес задержался у мембраны. Обернулся.

– Майор.

– Сержант.

– Спасибо, – сказал он. И ушёл, прежде чем она успела ответить.

Корсакова осталась одна в тренировочном модуле. Тишина была не абсолютной – палуба гудела, вентиляция шелестела, жизнеобеспечение шёлкало, – но достаточно пустой, чтобы чувствовалось отсутствие людей. Она повисла в центре модуля, позволив телу расслабиться. Мышцы ног ныли. Плечи затекли от скафандровых зажимов. Костяшки пальцев – содраны: маркеры мелкие, контейнер с острым краем, в невесомости промахиваешься мимо отверстия и бьёшь о кромку. Мелочи. Тело – инструмент, инструмент изнашивается, это нормально.

Она смотрела на свои руки. Левая – шрам на костяшке среднего пальца, давний, от тренировочного ножа ещё на Земле, когда она была кадетом и мир был проще. Правая – сбитые ногти, мозоль на указательном от спускового крючка, тонкая белая линия на тыльной стороне

– осколок обшивки «Калипсо», который прошёл через перчатку скафандра и вспорол кожу до кости.

Руки, которые умеют убивать. Руки, которые умеют спасать. Руки, которые сделали выбор – и двадцать человек живы, и одиннадцать – нет.

Четыре минуты. Она позволила себе четыре минуты. Потом отцепилась от невидимой точки, в которой висела, и поплыла к шлюзу. Душ. Ужин. Рапорт по тренировке. Ночная вахта в ноль-ноль тридцать. День как день.

Мембрана шлюза разошлась, и Корсакова вышла в основной коридор жилого сектора «Дионы». Здесь была гравитация – слабая, около трети земной, от вращения внешнего кольца станции. Ноги привычно приняли вес тела, и переход от невесомости к гравитации отозвался лёгким головокружением – вестибулярный аппарат перенастраивался, как всегда, за две-три секунды. Коридор был узким, два метра в ширину, с закруглёнными стенами и трубами, идущими поверх обшивки. На «Дионе» трубы не прятали – незачем: станция строилась как форпост, не как курорт. Стены – серый композит, пол – решётчатый, под ним видно кабели и трубопроводы. Освещение – светодиодное, с лёгким синим оттенком, от которого лица выглядели нездоровыми. Все на «Дионе» выглядели нездоровыми. Все на «Дионе» и были нездоровыми – в той степени, в которой нездоров любой человек, проводивший два года в условиях пониженной гравитации, хронической радиации и рециркулированного воздуха.

Коридор был пуст – вахта, обеденное время, большинство экипажа в кают-компании или на постах. Корсакова шла, и её шаги были единственным звуком – глухие удары подошв о решётку палубы. Стены слегка вибрировали: вращение сегмента, гироскопы, генераторы. «Диона» была живым организмом – не в метафорическом, а в инженерном смысле: системы жизнеобеспечения, энергоснабжения, терморегуляции работали непрерывно, и каждая из них генерировала шум, вибрацию, тепло. Жить на станции – значит жить внутри машины. Привыкаешь. Или не привыкаешь – тогда летишь обратно.

Она дошла до каюты – персональной, размером с платяной шкаф, привилегия офицерского состава. Мембрана опознала отпечаток пальца, разошлась. Внутри: койка, откидной столик, терминал, зеркало. Личные вещи – минимум: смена белья, планшет, пакет кофе (настоящего, контрабандного, привезённого с Земли, стоившего как месячная зарплата рядового). Фотографии – нет. Она убрала их после «Калипсо».

Корсакова стянула тренировочный комбинезон – мокрый от пота, с синим пятном маркера на бедре – и шагнула в душевую нишу. Вода пошла тёплой, с привычным металлическим привкусом, ограниченная до трёх минут на человека – стандарт «Дионы». Три минуты: лицо, тело, волосы. Она стояла под струёй и считала секунды, потому что считать секунды – привычка, и привычки – якорь, а якорь нужен, когда тебя несёт.

Сто двадцать секунд. Выключила воду. Вытерлась. Чистый комбинезон – серый, стандартный, с нашивкой «КАЙРОС» на левом рукаве и планкой «Корсакова Л.Д.» на груди. Волосы – короткие, тёмные, почти не нуждающиеся в укладке – высохнут сами. Зеркало показало то, что показывало всегда: худое лицо, резкие скулы, тёмные круги под глазами (хронические, не от недосыпа – от радиации и рециркуляции), серые глаза, которые коллеги называли «стальными» и которые ей самой казались просто усталыми. Тридцать девять лет. В условиях космоса – старше на десять.

Она налила кофе – две ложки из драгоценного пакета, кипяток из термоэлемента, вдохнула запах. Настоящий кофе пах землёй, теплом, другой жизнью. Той, где есть окна, и за ними – деревья, и деревья не нуждаются в рециркуляции, потому что они и есть рециркуляция, и это была одна из тех мыслей, которые Корсакова гнала от себя, потому что ностальгия – роскошь, а роскошь – слабость.

Она сделала глоток. Кофе был горький и идеальный. Пять секунд тишины, в которых не было ничего, кроме вкуса.

Терминал пикнул.

Не стандартный сигнал – не расписание, не рапорт, не почта. Аварийный код. Три коротких тона, один длинный – конфигурация, которую Корсакова слышала дважды в жизни: во время столкновения станции «Феба» с микрометеоритным потоком и при abordage «Калипсо».

Кофе замер в руке. Корсакова замерла – на долю секунды, на ту самую долю, которая со стороны выглядит как ледяное спокойствие, а изнутри как провал: расширенные зрачки, замедленное дыхание, одиннадцать рук в темноте.

Потом включилась.

Терминал. Эcran.

Сообщение было с командного поста «Дионы» – открытое, всем офицерам уровня три и выше. Красная рамка: приоритет «альфа». Текст – стандартный формат оперативного оповещения:

ВСЕМ ОФИЦЕРАМ. АЛЬФА-ПРИОРИТЕТ. ОБСЕРВАТОРИЯ «ДИОНА-3» ЗАФИКСИРОВАЛА АНОМАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ В ЗАЗОРЕ КАССИНИ. ОБЪЕКТ НЕПОДВИЖЕН ОТНОСИТЕЛЬНО СИСТЕМЫ КООРДИНАТ САТУРНА. ПАРАМЕТРЫ: СФЕРИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ДИАМЕТР: 2,014 КМ (± 2 М). АЛЬБЕДО: 0,000. МАССА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА (НЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ОРБИТАЛЬНЫЕ ТЕЛА). ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ: 310,15 К (37°C). ОБЪЕКТ ГЕНЕРИРУЕТ ШИРОКОПОЛОСНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ОБЪЕКТ ТРАНСЛИРУЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ СИГНАЛ. ВСЕМ ОФИЦЕРАМ – ЯВКА В ОПЕРАТИВНЫЙ ЗАЛ В 15:30 SST. КОМАНДУЮЩИЙ СТАНЦИЕЙ «ДИОНА» КОНТР-АДМИРАЛ ОКЕНДЕ.

Корсакова прочитала сообщение дважды. Медленно. Слово за словом.

Сферическая геометрия. Идеальная сфера – не бывает в природе. Астероиды, луны, кометы – всё неправильной формы, всё изъедено столкновениями и эрозией. Идеальная сфера диаметром два километра – это не природа. Это инженерия.

Альbedo ноль. Абсолютный чёрный. Не отражает свет – поглощает. Полностью. Такого материала не существует в известной физике. Углеродные нанотрубки приближались к показателю, но «ноль» – это не «приближается». Ноль – это абсолют.

Температура: 37 градусов Цельсия. Температура человеческого тела. В вакууме космоса, на расстоянии полутора миллиардов километров от Солнца, где фоновая температура – минус двести. Тридцать семь. Как будто оно живое. Или как будто хочет, чтобы так казалось.

Генерирует излучение. Транслирует сигнал.

Объект транслирует. Не «излучает» – транслирует. Структурированный сигнал. Это значит: информация. Это значит: намерение. Это значит: кто-то или что-то хочет быть услышанным.

Корсакова поставила кружку с кофе на откидной столик. Кофе ещё дымился. Она смотрела на экран, и мозг работал так, как работал всегда в момент неизвестной угрозы: тактическая оценка, приоритизация, план действий. Расстояние до объекта. Ресурсы станции. Состав «Кайроса». Вооружение. Транспорт. Время реагирования.

Но под тактикой – под слоем профессиональных расчётов, привычных и надёжных, как магнитные ботинки на палубе – было что-то другое. Не страх. Не волнение. Что-то более древнее и тихое: ощущение, что мир, который она знала, только что сдвинулся. Не рухнул, не взорвался – именно сдвинулся. На миллиметр. На долю градуса. Достаточно, чтобы всё, что стояло ровно, начало медленно скользить.

Два километра. Идеальная сфера. Температура тела. Транслирует.

Она взяла кружку, допила кофе одним глотком – обжигающий, горький, заземляющий – и встала.

Пятнадцать тридцать. Оперативный зал. Она будет там в пятнадцать двадцать пять.

Коридор жилого сектора больше не был пустым. Люди двигались – быстрее, чем обычно. Не бежали – бег на станции опасен: треть земной гравитации, инерция, повороты – но шли с той целенаправленностью, которая означала: все получили то же сообщение. Корсакова видела лица – техников, учёных, вахтенных офицеров – и читала на них одно и то же: вопрос. Не страх. Пока не страх. Вопрос. Что это? Что это значит? Что будет дальше?

Она не знала ответов. Она не задавала вопросов, когда не знала ответов.

Оперативный зал «Дионы» располагался в центральном модуле – осевом, невращающемся, – и вход в него означал переход от гравитации к невесомости. Корсакова прошла через переходную камеру, почувствовала, как вес уходит из ног, и оттолкнулась – привычно, точно, без лишней силы. Зал был полусферой диаметром пятнадцать метров, с главным экраном, занимавшим всю изогнутую стену, и рабочими станциями, расположенными ярусами по окружности. Двадцать два офицера уже были на местах – большинство держались за поручни, некоторые были пристёгнуты к сиденьям. Все смотрели на экран.

На экране был Сатурн. Золотисто-бежевые полосы, тени колец, танец лун – привычная картина, которую Корсакова видела каждый день из любого иллюминатора «Дионы». Но в верхнем левом углу – там, где зазор Кассини рисовал чёрную полосу между кольцами – было нечто новое.

Точка. Крошечная на фоне Сатурна, неразличимая без увеличения. Обсерватория «Диона-3» увеличила.

Сфера. Абсолютно чёрная. Два километра в диаметре – масштабная линейка на экране показывала это бесстрастно, цифрами, но мозг отказывался принимать: два километра идеальной геометрии, без единого изъяна, без швов, без деталей поверхности. Дыра в пространстве, которая не отражала ни единого фотона.

Температура поверхности: 37°C. Цифра горела красным, как будто система мониторинга тоже не верила.

Корсакова нашла место у поручня – левый ярус, третий ряд, привычная позиция – и зафиксировалась. Рядом завис инженер-лейтенант Мацуда, навигационная служба, круглое лицо, в котором обычно читались лёгкость и хорошая еда, а сейчас – только расширенные зрачки.

– Майор, – прошептал он. – Вы видели?

– Вижу.

– Это не наше.

– Нет, – сказала Корсакова. – Не наше.

Мацуда открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, но в этот момент в зал вплыл контр-адмирал Окенде, и все замолчали.

Окенде был высоким, худым человеком с тёмной кожей, седыми волосами и лицом, на котором ничто никогда не отражалось раньше, чем он сам этого хотел. Корсакова знала его шесть лет – он командовал «Дионой» с момента расширения станции до уровня форпоста – и за эти шесть лет видела его растерянным дважды. Один раз – при получении известия о гибели трёх членов экипажа в аварии на внешних антеннах. Второй раз – сейчас.

Он не выглядел растерянным. Он выглядел как человек, который знает что-то, что предпочёл бы не знать, и которому предстоит сказать это двадцати двум офицерам.

Окенде занял центральную позицию – под главным экраном, лицом к залу, руки на поручнях. Невесомость не мешала ему выглядеть внушительно. Некоторые люди обладали этим качеством – способностью заполнять собой пространство вне зависимости от гравитации.

– Дамы и господа, – сказал он. Голос – ровный, командный, без интонаций, какие Корсакова слышала у него в коридоре за минуту до входа. – В 13:47 стандартного времени Сатурна обсерватория «Диона-3» зафиксировала объект в зазоре Кассини. Объект стационарен. Параметры – на ваших экранах. То, чего нет на ваших экранах, – это следующее.

Он коснулся панели на поручне. Главный экран мигнул. Чёрная сфера сместилась в угол, а центр занял график – спектральный анализ, частотная развёртка, волновые формы. Корсакова не была физиком, но она умела читать графики, и то, что она видела, заставило её пальцы крепче сжать поручень.

Сигнал. Не шум – сигнал. Регулярная, повторяющаяся структура с чёткой модуляцией. Что-то похожее на цифровую передачу, но ни один известный протокол не совпадал. Частота – широкополосная: объект вещал одновременно на всём электромагнитном спектре, от длинных волн до гамма-диапазона. Мощность сигнала – астрономическая. Буквально: его фиксировали датчики, рассчитанные на звёздные объекты.

– Объект транслирует, – сказал Окенде. Пауза. Одна секунда. Достаточно, чтобы каждый в зале прочувствовал вес следующих слов. – На всех частотах. Одно и то же сообщение. Непрерывно. С момента обнаружения – сорок три минуты назад.

Тишина. Двадцать два человека в невесомости – и ни звука, кроме гула вентиляции и далёкого, приглушённого ритма станции.

– Что в сообщении? – спросил кто-то. Корсакова не повернула головы – голос принадлежал кому-то из научного отдела, женский, низкий, с заметным акцентом.

Окенде посмотрел на говорившую. Потом – на зал. И Корсакова увидела то, чего не видела у него никогда: на долю секунды его маска дала трещину, и под ней было что-то, что можно было назвать страхом, если бы контр-адмиралы боялись, но они не боялись – они ознакомились.

– Наша группа декодирования работает с сигналом тридцать семь минут, – сказал Окенде. – Структура математическая. Базовая: простые числа, константы, система счисления. Это не случайность. Не природное явление. Это – сообщение. Направленное. Структурированное. Предназначенное для того, чтобы быть понятым.

Он снова коснулся панели. На экране появился новый график – выделенный фрагмент сигнала. Нарастающая линия, прерывающаяся через равные интервалы. Паттерн, который повторялся с безупречной точностью.

– В сообщении есть последовательность, которую группа декодирования интерпретирует как числовой ряд. Убывающий. С фиксированным шагом. Привязанный к единице времени, которую мы ещё уточняем, но предварительно – стандартная секунда. Плюс-минус.

Пауза.

– Это обратный отсчёт, – сказал Окенде.

Зал молчал. Корсакова молчала. Её пальцы лежали на поручне – неподвижные, побелевшие, – и она смотрела на экран, на график с убывающим числовым рядом, и считала. Не числа на экране – свои собственные. Частоту пульса. Восемьдесят два. Нормально. Контроль.

– Время до нуля – по предварительным расчётам – четырнадцать месяцев, – сказал Окенде. – Плюс-минус три недели.

Четырнадцать месяцев. Корсакова отпечатала число в памяти – автоматически, как отпечатывала координаты, время, дистанции. Четырнадцать месяцев – и обратный отсчёт, который ведёт к чему-то. К чему – никто не знал. Открытие. Закрытие. Взрыв. Контакт. Уничтожение. Четырнадцать месяцев неизвестности.

Идеальная сфера. Два километра. Тридцать семь градусов. Транслирует. Считает.

– Все детали – в оперативном пакете, который поступит на ваши терминалы через час, – сказал Окенде. – До этого момента информация – уровень три и выше. Связь с Землёй установлена. Задержка – восемьдесят две минуты в одну сторону. Ответ ждём через три часа. До получения инструкций – штатный режим, повышенная готовность. Никаких – повторяю, никаких – несанкционированных приближений к объекту. Вопросы – по каналу «Альфа». Свободны.

Офицеры расходились – медленно, в тишине, которая была громче любого крика. Корсакова осталась на месте. Она смотрела на экран – на чёрную сферу в зоре Кассини, на бес-

страстные цифры параметров, на график обратного отсчёта. Четырнадцать месяцев. Убывающий ряд. Тик-так.

Она думала о руках. О своих руках, которые сегодня утром держали учебную флешетту и три дня назад чинили протекающий клапан в душевой, и восемнадцать месяцев назад грузили тела в чёрные мешки в четвёртом отсеке «Калипсо». Руки, которые умели стрелять, чинить, считать, убивать, спасать.

Руки, которые не имели ни малейшего представления, что делать с двухкилометровой сферой инопланетного происхождения.

Ладно.

Она отпустила поручень, оттолкнулась и поплыла к выходу. Там – коридор, гравитация, каюта, терминал, оперативный пакет, работа. Работа – якорь. Якорь – то, что удерживает, когда мир сдвигается.

Четырнадцать месяцев. Обратный отсчёт. Начало.



Глава 2: Частота

Станция «Диона», нейрофизиологическая лаборатория. День 1.

Мозг на экране пульсировал.

Не настоящий мозг – проекция. Голографическая модель, построенная на данных сигнала, висела посреди затемнённой лаборатории, как медуза в толще воды: полупрозрачная, мерцающая, синяя на чёрном. Нейронные пути светились тонкими линиями – миллиарды связей, образующих сеть такой плотности, что глаз терялся, как в звёздном небе. Миндалевидное тело горело ярче прочего – два миндалевидных узла глубоко внутри височных долей, красно-

ватые, пульсирующие в ритме, который Артём Чен чувствовал затылком, хотя это, конечно, было невозможно.

Он не спал девятнадцать часов.

Это не было подвигом – это была нормальная продолжительность рабочего дня, когда инопланетный артефакт транслировал детальную карту человеческого мозга на всех электромагнитных частотах одновременно. Чен сидел перед проекцией на вращающемся табурете, пристёгнутый поясным ремнём к направляющей – лаборатория находилась в осевом модуле «Дионы», невесомость, – и держал в левой руке стакан кофе из автомата. Кофе был кисловатый, чуть тёплый, в тонком пластиковом стакане, который норовил выскользнуть. Чен пил его уже четвёртый раз за ночь, и каждый стакан был хуже предыдущего: автомат на третьей палубе разбавлял порошок рециркулированной водой с привкусом металла, и результат был ближе к химическому оружию, чем к напитку. Но кофеин работал. Мозг работал. Это было главное.

– Подожди, подожди, – сказал Чен вслух. Лаборатория была пуста – три часа ночи по стандартному времени Сатурна, – но он давно привык думать голосом. Мысль, не произнесённая вслух, казалась ему незаконченной, как уравнение без правой части. – Если этот паттерн – не шум, а инструкция... если вот эти вот маркеры, – он ткнул пальцем в проекцию, и голографический мозг послушно подсветил участок, на который он указал, – если это координаты нейронных кластеров, то...

Он замолчал. Посмотрел на выделенный участок. Вентромедиальная префронтальная кора – область, отвечающая за принятие моральных решений, оценку угрозы, модуляцию эмоциональных ответов. В проекции она была окрашена в градиент от синего к красному – спектр активности, заданный сигналом.

– Это не приветствие, – сказал Чен. Пальцы его правой руки автоматически забарабанили по колену – привычка, которую он не замечал, когда думал быстро. – Это не «здравствуйте, мы пришли с миром». Это... это рецепт. *They're sending a recipe.*

Английский выскочил сам – как всегда, когда нервы обгоняли язык. Чен был наполовину китаец по отцу, наполовину русский по матери, и думал на трёх языках в зависимости от контекста: русский – для бытового, мандарин – для семейного, английский – для научного. Под давлением языки смешивались, и он переключался между ними, как радиоприёмник между станциями.

Рецепт. Сигнал был рецептом.

Он отстегнулся от табурета и подплыл к рабочей станции – широкому экрану, закреплённому на стене, с клавиатурой на выдвижном кронштейне. Пальцы легли на клавиши – и понеслись.

Группа декодирования Окенде – четверо криптографов и один лингвист – работала с сигналом двенадцать часов и сделала то, что умела: выделила математическую структуру, нашла систему счисления, определила базовые константы. Стандартный протокол первого контакта, отработанный на сотнях теоретических моделей и ни разу – на практике. Они декодировали «конверт». Содержимое письма они передали Чену, потому что содержимое оказалось не математикой и не лингвистикой. Содержимое оказалось нейрофизиологией.

Чен потратил первые шесть часов на то, чтобы поверить. Не в инопланетный сигнал – в это он поверил мгновенно, потому что данные были данными, а данные не лгали. Он потратил шесть часов на то, чтобы поверить, что сигнал содержал карту человеческого мозга, составленную с точностью, которой земная наука не достигнет в ближайшие сто лет. Каждый нейронный кластер – на месте. Каждая связь – верифицирована. Каждый нейромедиаторный путь – промаркирован символами, которые Чен ещё не расшифровал, но которые соответствовали реальным биохимическим процессам с точностью до молекулы.

Кто бы ни составил эту карту, он знал человеческий мозг лучше, чем сами люди.

Это было первое, от чего у Чена задрожали руки. Не от страха – от масштаба. Он занимался нейрофизиологией пятнадцать лет – с двадцати двух, когда закончил ускоренную программу в Шанхайском институте нейронаук, и до тридцати семи, когда оказался в лаборатории мозг-компьютерных интерфейсов на станции «Диона». Пятнадцать лет он строил модели нейронных сетей, картировал связи, пытался понять, как электрохимические импульсы в полутора килограммах серого вещества превращаются в мысль, память, страх, любовь. Пятнадцать лет – и лучшие его модели покрывали максимум шестьдесят процентов реальной активности. Остальные сорок оставались шумом, хаосом, *terra incognita*.

Сигнал покрывал сто процентов. Шума не было. Хаоса не было. Каждый импульс – на месте, каждая связь – объяснена. Как если бы кто-то взял чертёж и развернул его до последнего винтика.

Но рецепт – это не чертёж. Чертёж описывает, что есть. Рецепт описывает, что должно стать.

Вторые шесть часов Чен потратил на то, чтобы понять, что именно рецепт предписывал сделать с человеческим мозгом. И когда понял – потянулся за пятым стаканом кофе.

Сигнал описывал процесс. Не абстрактный – конкретный, пошаговый, с временными интервалами и биохимическими маркерами. Процесс направленного нейрогенеза – перестройки нейронных контуров, которая начиналась с миндалевидного тела и распространялась на вентромедиальную префронтальную кору, гипоталамические ядра, переднюю поясную кору. Участки мозга, которые Чен знал наизусть. Участки, отвечающие за одну вещь.

Агрессия.

Не страх – агрессия. Не мышление, не память, не творчество. Конкретно и точно: нейронные контуры, генерирующие агрессивный ответ. Атаку. Территориальность. Конкурентное доминирование. Проактивное насилие. Всё, что нейрофизиология двадцать второго века умела отличать от защитных реакций – но не умела модифицировать без разрушения смежных функций.

Сигнал описывал, как это сделать. Чисто. Точно. Необратимо.

– It's not a greeting, – прошептал Чен, глядя на голографический мозг, в котором контуры агрессии мерцали красным, как метки на минном поле. – It's a price tag.

Он посмотрел на часы. Шесть сорок две. Брифинг Окенде – в восемь ноль-ноль. Чен допил кофе, скомкал стакан – тонкий пластик хрустнул в кулаке – и бросил в сторону утилизатора. В невесомости стакан полетел не вниз, а по прямой, промахнулся мимо отверстия и поплыл дальше, медленно вращаясь. Чен не стал его ловить. Стакан найдёт себе угол, как и все вещи в невесомости – рано или поздно всё прибивается к вентиляционным решёткам.

Он повернулся к проекции. Мозг висел в темноте, синий и безмолвный, и пульсировал – ритмично, мягко, как будто дышал. Как будто ждал.

Брифинг-зал станции «Диона» был больше оперативного зала и располагался палубой ниже – во вращающемся сегменте, с гравитацией. Треть земной. Достаточно, чтобы люди сидели в креслах, а не висели на поручнях, и чтобы кофе оставался в чашках. Зал был прямоугольным, с длинным столом и экраном во всю торцевую стену. Двадцать шесть кресел – все заняты. Воздух пах тем же, чем пахло всё на «Дионе»: пластик, озон, лёгкий привкус чужого существования.

Чен опоздал на три минуты. Он влетел в зал – буквально: переход из невесомости осевого модуля в гравитацию вращающегося сегмента всегда был неуклюжим, и Чен, рослый, худой, с длинными конечностями, которые в невесомости были преимуществом, а в гравитации – источником постоянных столкновений с дверными проёмами, ввалился через мембрану шлюза

с грацией жирафа на катке. Колени подогнулись, рука схватилась за косяк, тело привыкало к весу. Три-четыре секунды адаптации – и он стоял. Более или менее.

Двадцать пять пар глаз смотрели на него. Двадцать шестая пара – контр-адмирала Окенде – смотрела с выражением, которое у военных означает: «Вы опоздали, и я это запомню, но сейчас есть проблемы крупнее».

– Доктор Чен, – сказал Окенде. – Рад, что вы к нам присоединились.

– Простите, адмирал. Я... – Чен запнулся, потому что то, что он хотел сказать, было «я не мог оторваться от данных, потому что инопланетный сигнал содержит подробнейшую инструкцию по перестройке человеческого мозга», а это было не тем, что следовало выпаливать с порога на брифинге, где половина присутствующих – военные. – Данные потребовали дополнительной верификации.

Окенде кивнул. Чен нашёл пустое кресло – последнее в ряду, у стены – и сел. Гравитационное кресло обняло его с мягким пневматическим вздохом. Ноги – на полу. Вес – на ягодицах. Странное ощущение после ночи в невесомости: тяжесть, как будто на плечи положили мешок.

– Итак, – сказал Окенде, стоя у торцевого экрана. – Ситуация.

На экране – Сатурн, кольца, луны. В зоре Кассини – чёрная точка. Маяк – так его начали называть вчера, и название прижилось мгновенно, как прилипает к коже ожог. Маяк.

– Двадцать два часа назад объект, условное обозначение «Маяк», был зафиксирован обсерваторией «Диона-3». Параметры вам известны. За прошедшие двадцать два часа мы установили следующее.

Окенде коснулся экрана. Данные развернулись – таблицы, графики, спектрограммы.

– Первое. Маяк не является природным объектом. Его геометрия, температурный профиль и электромагнитная активность исключают любое естественное происхождение. Это – артефакт. Искусственный. Созданный разумом.

Пауза. Чен оглядел зал. Лица. Военные – каменные, профессиональные, контролируемые. Учёные – возбуждённые, кто-то бледный, кто-то с горящими глазами. Один инженер – Мацуда, кажется, навигация – выглядел так, будто его вот-вот стошнит.

– Второе, – продолжал Окенде. – Маяк транслирует структурированный сигнал. Сигнал содержит математический базис, систему счисления и то, что наша группа декодирования и доктор Чен определили как... информационный пакет. Доктор Чен, ваша часть.

Чен встал. Ноги – ватные, но не от невесомости. От девятнадцати часов без сна и от того, что ему предстояло сказать двадцати пяти людям.

– Спасибо, адмирал. – Он подошёл к экрану, и его длинная тень легла на стену, ломаясь на переборках. – Сигнал Маяка содержит три уровня информации. Первый – математический базис. Простые числа, константы, арифметика. Стандартная методология первого контакта, которую мы сами предполагали использовать в протоколах SETI. Здесь ничего неожиданного.

Он вывел на экран первый слой – числовые ряды, графики, символы.

– Второй уровень – обратный отсчёт. Числовая последовательность, убывающая с фиксированным шагом, привязанная к стандартной секунде. Четырнадцать месяцев до нуля. Мы не знаем, что произойдёт при достижении нуля. – Пауза. – Пока не знаем.

– Третий уровень.

Чен вывел голографическую проекцию – ту самую, над которой работал ночь. Синий мозг на чёрном фоне, пульсирующий, с выделенными красным зонами. Проекция заполнила пространство над столом – полупрозрачная, детальная, живая. Несколько человек инстинктивно отодвинулись.

– Третий уровень – вот это. Это карта человеческого мозга. Не схема, не модель – карта. С точностью до отдельного нейронного кластера. С маркировкой нейромедиаторных путей. С идентификацией функциональных зон. – Чен обвёл рукой проекцию, и его пальцы прошли сквозь голографические контуры, оставив лёгкую рябь. – Уровень детализации – на порядок

выше того, чем располагает современная нейрофизиология. Подожди... нет, не «подожди» – на два порядка. Я проверял дважды.

Тишина. Чен чувствовал её физически – как давление в ушах, как будто зал стал герметичной камерой и кто-то начал откачивать воздух.

– Они знают наш мозг, – сказал кто-то. Тот же голос, что вчера: женский, с акцентом. Чен повернулся – доктор Элеонора Фриш, астробиолог, седые волосы, острый подбородок, глаза за толстыми линзами.

– Да, – сказал Чен. – Они знают наш мозг. Лучше нас.

– Это наблюдение? – спросила Фриш. – Или вывод?

– Это факт. Данные в сигнале соответствуют реальной нейроанатомии с точностью, которая исключает случайность или экстраполяцию. Кто бы ни создал Маяк, они изучали человеческий мозг. Непосредственно. Подробно.

Окнде стоял у стены, скрестив руки на груди. Его лицо не выражало ничего – но Чен заметил, как его челюсть сжалась на полтона крепче.

– Продолжайте, доктор.

– Карта – это не всё. Карта – это контекст. Основное содержание третьего уровня – процедура. Подожди, подожди... – Чен поднял руку, останавливая сам себя, собирая мысли. – Позвольте, я объясню иначе. Представьте, что вам прислали письмо. В конверте – чертёж вашего дома. Точный до миллиметра. Вы разворачиваете чертёж, и на нём – пометки красным. Вот здесь – снести стену. Вот здесь – переложить проводку. Вот здесь – убрать дверь и поставить окно. Не пожелание – инструкция. С размерами, материалами и последовательностью действий.

Он повернулся к проекции и увеличил красные зоны. Миндалевидное тело. Вентромедиальная префронтальная кора. Гипоталамические ядра.

– Сигнал содержит пошаговую процедуру перестройки этих нейронных контуров. Не удаления – именно перестройки. Формирования новых связей, подавления существующих, перенаправления нейромедиаторных путей. Управляемый нейрогенез – процесс, который земная наука считает теоретически возможным, но технологически недостижимым. Сигнал описывает, как это сделать.

– И что эти контуры делают? – спросил Окнде. Он знал ответ – Чен отправил ему предварительный отчёт два часа назад, – но вопрос был для зала.

– Агрессия, – сказал Чен. – Все выделенные зоны – это нейронные контуры, генерирующие агрессивный ответ. Реактивная агрессия – защитная реакция на угрозу. Проактивная агрессия – целенаправленное насилие. Территориальное поведение. Конкурентное доминирование. Всё, что нейрофизиология классифицирует как агрессивные модели поведения.

– Сигнал предлагает нам отключить агрессию, – сказала Фриш. Не вопрос – констатация.

– Не отключить. Перезаписать. Разница принципиальна. Отключение – это хирургия: вырезал – потерял. Перезапись – это редактирование: нейронные связи перестраиваются, функция заменяется другой. Согласно данным сигнала, результат – индивид, физически неспособный генерировать агрессивный ответ. Ни эмоциональный, ни поведенческий.

– Навсегда? – спросил кто-то из второго ряда. Мужской голос, молодой, с нервным призвуком.

Чен посмотрел на голографический мозг. Синие линии пульсировали. Красные зоны ждали.

– Сигнал не содержит процедуры отката, – сказал он. – Процесс описан как односторонний. Необратимый. Да. Навсегда.

Зал загудел – не шумом, а тем низким, вибрирующим звуком, который издают двадцать пять человек, одновременно пытающихся заговорить и удержать себя от этого. Чен стоял у экрана и ждал, пока гудение уляжется. Его руки – длинные, с тонкими пальцами эксперимен-

татора, с мозолями от лабораторного оборудования – висели вдоль тела, и он не знал, куда их деть. Он никогда не знал, куда девать руки, когда не работал. Это была его версия неуклюжести: в лаборатории руки были продолжением мозга, безупречно точные; везде остальное – лишние конечности, которые мешали.

Окенде поднял ладонь. Тишина.

– Спасибо, доктор Чен. Сядьте, пожалуйста. Теперь – контекст.

Чен сел. Кресло приняло его обратно, и он почувствовал, как тело наконец сдаётся усталости – девятнадцать часов, кофеин выдыхался, мышцы ныли. Но мозг – мозг работал на полной мощности, потому что он только что сказал двадцати пяти людям то, во что сам поверил шесть часов назад, и теперь ему нужно было слушать, что мир собирается с этим делать.

– Обстановка, – сказал Окенде и вывел на экран карту Солнечной системы. – Земля получила наши данные. Задержка связи – восемьдесят две минуты в одну сторону. Три часа назад мы получили первый ответ Командования UNSA. Вот что нам известно.

Карта увеличилась – система Сатурна, луны, орбиты. Маяк – красная точка в зазоре Кассини. Станция «Диона» – зелёная. И три жёлтые метки – далеко, за пределами орбиты Титана, но движущиеся.

– Три корвета альянса «Суверенитет» – «Хэйлун», «Императив» и «Гром» – находятся в системе Сатурна. По данным орбитального слежения, они изменили курс шесть часов назад. Новый вектор – зазор Кассини. ETA – двадцать два – двадцать четыре дня.

«Суверенитет». Чен знал это название – все знали. Альянс государств и корпораций, объединённых одной идеей: космос принадлежит не наднациональной бюрократии UNSA, а тем, кто имеет силу его контролировать. Национальные флоты, корпоративные станции, частные армии. Они не были «врагами» в формальном смысле – UNSA и «Суверенитет» сосуществовали в состоянии вооружённого нейтралитета, как два хищника на одной территории, достаточно умных, чтобы не драться без причины. Но причина только что появилась – двухкилометровая, чёрная, транслирующая.

– Командование UNSA оценивает «Суверенитет» как потенциальную угрозу, – продолжал Окенде. – Их позиция по Маяку неизвестна, но прогнозируема: они будут настаивать на контроле объекта или – если контроль невозможен – на его нейтрализации. Это не подтверждённая разведка, это оценка.

– Нейтрализации, – повторил кто-то из военных. Чен повернулся – мужчина в форме UNSA, средних лет, незаметное лицо, тёмные волосы, подтянутый. Капитан-лейтенант – нашивки. Чен не знал его имени. Мужчина сидел в дальнем конце стола, в углу, и до этого момента не произнёс ни слова. – Три корвета «Суверенитета» несут стандартное вооружение: рейлганы, тактические лазеры. Предположительно – ядерные торпеды. «Нейтрализация» – это их способ решить проблему.

Окенде посмотрел на него.

– Капитан-лейтенант Вэй. Верно. Именно поэтому ваш корвет «Немезида» включён в оперативную группу.

Вэй. Чен запомнил имя, лицо. Капитан-лейтенант Чжу Вэй – командир корвета «Немезида», одного из двух кораблей UNSA в системе Сатурна. Чен видел его впервые – Вэй прибыл на «Диону» три месяца назад, патрульная ротация, ничего экстраординарного. Но то, как он сидел – в углу, в тени, наблюдая, не привлекая внимания, – и то, как его голос звучал – ровный, без эмоций, каждое слово выбрано – оставляло впечатление человека, который привык слушать больше, чем говорить, и использовал каждое слово как инструмент.

Окенде кивнул и продолжил.

– Третий фактор. Движение «Восход».

На экране – не карта, а логотип: стилизованная спираль ДНК, переходящая в стрелку вверх. Чен знал и это. Трансгуманисты, технооптимисты, мечтатели – или фанатики, в зави-

симости от точки зрения. «Восход» был не государством и не корпорацией, а идеологическим движением: десятки миллионов людей на Земле и в колониях, убеждённых, что человечество стоит на пороге следующего эволюционного шага. Генетическая модификация, нейроинтерфейсы, продление жизни – всё, что приближало к постчеловечеству. Они были разрознены, не имели армии, но имели влияние: учёные, инженеры, программисты. Люди, которые строили будущее своими руками и хотели строить его быстрее.

– Разведка UNSA сообщает, что «Восход» активизировался в течение часов после обнаружения Маяка, – сказал Окенде. – Их позиция – предсказуема и уже озвучена в открытых каналах: Маяк – дар. Согласование – шанс. Отказ – преступление против вида. Они будут давить на принятие любой ценой.

– Согласование? – спросил военный из первого ряда. Чен не видел его лица – только затылок, стриженный, загорелый.

– Так доктор Чен предложил назвать процедуру, описанную в сигнале, – сказал Окенде. – Термин рабочий. Доктор?

Чен привстал в кресле.

– Согласование – от слова «согласие». Процедура подразумевает добровольную... – он запнулся на «добровольную», потому что сигнал ничего не говорил о добровольности, – ...перестройку нейронных контуров с целью приведения человеческой нейрофизиологии в соответствие с определёнными параметрами. Мы не знаем, чьими параметрами. Мы не знаем, зачем. Мы знаем только – что.

– Вы говорите, сигнал описывает процедуру, – сказала Фриш. – Но может ли эта процедура быть выполнена? Нашими средствами?

– Нет, – сказал Чен. – Наши средства – транскраниальная магнитная стимуляция, оптогенетика, фармакологическая нейромодуляция. Все они грубые, неточные, с побочными эффектами. Процедура в сигнале требует... – он помолчал, подбирая слова, – ...воздействия, носитель которого мы не можем идентифицировать. Не электромагнитное поле, не химия. Нечто, чего нет в нашей классификации. Сигнал описывает результат, но инструмент – это как если бы вам дали чертёж моста и список материалов, но вместо «сталь» там стояло слово, которого нет ни в одном языке.

– Значит, процедура неприменима, – сказал Вэй из своего угла. Не вопрос.

– Процедура неприменима нашими средствами, – поправил Чен. – Маяк – другое дело. Если инструмент – внутри Маяка...

Он не договорил. Но мысль повисла в воздухе, и все в зале её услышали: если Маяк – не только передатчик, но и клиника.

– Это предположение, – сказал Окенде. – Мы не знаем, что внутри Маяка. Мы не знаем, можно ли в него войти. Мы не знаем, что произойдёт, если мы приблизимся. Именно поэтому Командование UNSA санкционировало экспедицию.

Он вывел на экран новый документ – оперативный приказ, красная рамка, гриф «секретно».

– Миссия «Порог». Цель: приблизиться к объекту «Маяк», установить прямой контакт, определить его природу, возможности и угрозы. Состав: исследовательский корвет «Аргонавт» – экипаж двадцать два, научная группа восемь. Корвет «Немезида» – экипаж тридцать четыре, вооружение полное. «Аргонавт» осуществляет исследование. «Немезида» обеспечивает защиту и, при необходимости, эвакуацию. Охранную группу на борту «Аргонавта» обеспечивает спецотряд «Кайрос». – Пауза. – Командир «Кайроса» – майор Корсакова. Она в этом зале?

– Здесь, – сказал голос.

Чен обернулся.

Она сидела через три кресла от него – и он не заметил её до этого момента, что само по себе было примечательно: он не замечал людей, когда думал, а думал он непрерывно. Майор Корсакова – невысокая, худая, с коротко стриженными тёмными волосами и лицом, которое было бы привлекательным, если бы не выражение: замкнутое, настороженное, профессиональное. Глаза – серые, внимательные, неподвижные. Она смотрела на Окенде, не на экран, и в её взгляде было то, что Чен узнал интуитивно, хотя не мог назвать: оценка. Она оценивала не информацию – информация была для неё вторична. Она оценивала угрозу.

– Майор Корсакова, вы и ваша группа обеспечиваете безопасность научной команды на борту «Аргоншта» и при работе внутри объекта. Детали – в оперативном пакете.

– Принято, – сказала Корсакова. Одно слово. Короткое, сухое, как щелчок предохранителя.

– Вопросы по составу миссии – после брифинга. Теперь – временные рамки.

Окенде вывел на экран таймлайн.

– Маяк: обратный отсчёт – четырнадцать месяцев. Перелёт «Дионы» до зазора Кассини – шесть дней при оптимальном курсе. Корветы «Суверенитета» – двадцать два дня до контакта. Связь с Землёй – восемьдесят две минуты в одну сторону. К тому моменту, когда Земля узнает о нашем решении, мы уже примем его. – Пауза. – Это не дипломатический саммит. Это полевая операция. Решения принимаются здесь.

– Адмирал, – сказала Фриш. – Что, если Маяк – угроза?

– Для этого у нас есть «Немезида», – сказал Окенде. – И «Кайрос». И протоколы «омега», которые я надеюсь не активировать.

Протоколы «омега». Чен не знал деталей – военная классификация выше его уровня допуска, – но догадывался. «Омега» означало уничтожение: крайняя мера, ядерные торпеды, конец разговора. Он посмотрел на Вэя в дальнем углу. Вэй сидел неподвижно, лицо – бесстрастное, руки сложены на столе. Если протоколы «омега» – его зона ответственности, он не подавал виду.

– Вылет «Аргоншта» и «Немезиды» – через тридцать шесть часов, – сказал Окенде. – Научная группа – формирование до конца дня. Список кандидатов – на ваших терминалах. Вопросы?

Вопросов было много. Чен слушал их вполуха – логистика, цепочка командования, протоколы связи, медицинское обеспечение. Рутинная. Необходимая, скучная рутинная, которая составляла девяносто процентов любой экспедиции и без которой оставшиеся десять процентов заканчивались трупам. Его мозг работал параллельно: сигнал, карта, процедура. Управляемый нейрогенез. Необратимый. Носитель неизвестен. Зачем? Кто? Почему сейчас?

Брифинг закончился в девять тридцать. Люди поднимались, расходились, тихо переговариваясь. Чен встал – ноги затекли, треть земной гравитации после невесомости ощущалась как полная – и потянулся, хрустнув суставами. Ему нужно было вернуться в лабораторию, нужно было продолжить работу с третьим уровнем сигнала, нужно было—

– Доктор Чен.

Он обернулся. Корсакова стояла за его спиной – неслышно, как будто материализовалась. Вблизи она была ещё меньше, чем казалась в кресле: метр шестьдесят два, не больше. Но что-то в том, как она стояла – прямо, собранно, каждая мышца контролируема, – создавало ощущение, что она занимает больше пространства, чем позволяла физика.

– Майор.

– Расскажите мне про мозг.

Чен моргнул.

– Я... только что рассказал. Весь брифинг—

– Вы рассказали залу. Теперь расскажите мне. Короткую версию. Без голограмм.

Она смотрела на него снизу вверх – он был на голову выше, – и в её глазах не было ни любопытства, ни восхищения. Только холодная, прагматичная потребность в информации. Так смотрят на инструкцию по эксплуатации: не ради удовольствия, а потому что от этого зависит, сломается что-нибудь или нет.

Чен вдохнул. Выдохнул. Собрал мысли.

– Короткая версия. Маяк прислал нам инструкцию, как переделать человеческий мозг. Убрать агрессию. Не временно – навсегда. Наша наука не может этого сделать. Маяк – вероятно, может. Процедура необратима. Обратный отсчёт – четырнадцать месяцев.

Корсакова молчала. Секунду, две, три. Чен видел, как она обрабатывает информацию – не эмоционально, а тактически, раскладывая по полочкам: угрозы, возможности, неизвестные.

– Когда вы говорите «убрать агрессию», – сказала она наконец. – Что именно? Человек перестаёт злиться? Не может ударить? Не может стрелять?

– Всё это. Плюс глубже: исчезает нейронная основа для агрессивного поведения. Не просто контроль – отсутствие импульса. Человек после... Согласования... не выбирает не бить. Он не способен захотеть ударить. Нейронный контур, генерирующий этот импульс, перезаписан.

– А самозащита?

Чен замялся.

– Это... сложнее. Реактивная и проактивная агрессия – разные контуры, разные механизмы. Подожди, подожди – нет, вы правильно спрашиваете. По данным сигнала, перезапись затрагивает оба типа. И реактивный, и проактивный.

– Оба, – повторила Корсакова. Не вопрос. Подтверждение.

– Оба.

– Значит, человек после этой процедуры не может себя защитить.

– Не может ответить агрессией на угрозу. Может убежать, может замереть – «бей или беги» становится просто «беги». Но «бей» – нет.

Корсакова смотрела на него. Её лицо не изменилось – та же маска, тот же контроль. Но что-то в глазах – микродвижение, едва заметное сужение зрачков – сказало Чену, что она увидела то, что видел он сам шесть часов назад. Масштаб. Не научный – человеческий.

– Вы понимаете, что это, – сказала она. Не вопрос.

– Я понимаю, что это может быть, – поправил Чен. – Если сигнал – то, чем кажется. Если Маяк – инструмент, а не... я не знаю, не ловушка, не оружие. Если всё это – правда, то это... это величайшее открытие в истории нашего вида. Контакт с разумной цивилизацией. Доступ к технологиям, которые—

– Это ловушка.

Чен замолчал. Слово повисло между ними – простое, короткое, произнесённое тем же сухим тоном, которым Корсакова отдавала приказы.

– Вы не знаете этого, – сказал он.

– Я не знаю этого, – согласилась она. – Но я знаю, что когда кто-то предлагает тебе отдать единственное, чем ты можешь себя защитить – это либо ловушка, либо проверка. И в обоих случаях правильный ответ – не торопиться.

Чен хотел возразить. Хотел сказать: вы смотрите на это как солдат, а нужно смотреть как учёный. Хотел сказать: страх – плохой советчик при первом контакте. Хотел сказать: четырнадцать месяцев – не вечность, и если мы будем тратить время на паранойю вместо исследования, мы можем упустить единственный шанс, который вид получает раз в... раз в сколько? Раз в никогда?

Он не сказал ничего из этого. Потому что в глубине, под энтузиазмом и восхищением, и интеллектуальным голодом, который гнал его девятнадцать часов без сна, – в глубине он знал, что она не ошибалась. Не была права. Но не ошибалась.

– У нас шесть дней перелёта, – сказал он вместо этого. – Я буду работать с данными. К прибытию у нас будет больше ответов.

– У нас будет больше вопросов, – сказала Корсакова. И ушла.

Чен смотрел ей вслед. Невысокая, прямая, с походкой, которая в пониженной гравитации выглядела как скольжение – ни одного лишнего движения, ни одного потерянного импульса. Солдат. Человек, чья профессия – контролировать угрозу. Человек, который смотрит на величайшее открытие в истории и видит не чудо, а мишень.

Они будут работать вместе. Шесть дней перелёта, потом – неизвестность. Учёный и солдат. Микроскоп и прицел. Чен почувствовал, как в груди шевельнулось что-то – раздражение, но не злое, а то саднящее раздражение, которое появляется, когда кто-то ставит под сомнение то, во что ты уже поверил.

Она не права, подумал он. Она не может быть права. Потому что если это ловушка – то какой смысл? Какой смысл цивилизации, способной построить двухкилометровую сферу с температурой человеческого тела, тратить ресурсы на ловушку для муравьёв?

Но мысль – холодная, рациональная, его собственная – ответила: а какой смысл муравью гадать о мотивах ботинка?

Двадцать два часа.

Чен вернулся в лабораторию сразу после брифинга и не выходил. Двадцать два часа – сверх тех девятнадцати, что были до. Сорок один час без сна. Его личный рекорд – пятьдесят три, на третьем курсе, когда он готовил диссертацию по нейропластичности и обнаружил ошибку в собственной модели за двенадцать часов до защиты. Он тогда выправил модель, защитился на «отлично» и проспал двадцать часов на полу лаборатории, в обнимку с распечатками. Ему было двадцать четыре. Сейчас – тридцать семь, и тело напоминало об этом каждым суставом, каждым пересохшим глазом, каждой мышцей спины, которая кричала от часов в лабораторном кресле.

Но мозг. Мозг пел.

Третий уровень сигнала разворачивался, как оригами: каждый раз, когда Чен думал, что достиг дна, появлялся новый слой. Карта мозга была лишь первым листком. Под ней – процедура нейрогенеза. Под процедурой – биохимические спецификации: каждый нейромедиатор, каждый рецептор, каждый ионный канал, задействованный в процессе, был описан с точностью, от которой у Чена мурашки бежали по позвоночнику. Не человеческая точность. Не могла быть человеческой. Ни один прибор, ни одна лаборатория на Земле или в колониях не могла бы сканировать нейронную активность с таким разрешением.

И под биохимией – что-то ещё. Структура, которую Чен не мог интерпретировать. Последовательности символов, не соответствующие ни одной из предыдущих кодировок. Не математика, не биохимия, не нейроанатомия. Что-то другое. Новый язык. Или, точнее, – язык для описания чего-то, для чего у людей языка не было.

Чен смотрел на эти последовательности два часа. Вертел их. Накладывал на известные паттерны. Искал корреляции. Ничего. Стена. Чёрный ящик, из которого выходили данные, но в который нельзя было заглянуть.

– Это носитель, – прошептал он. Лаборатория была пуста, и его голос звучал тонко в тишине – только гул вентиляции и далёкий ритм станции. – Это описание носителя. Того, чем они воздействуют. И мы не можем его прочитать, потому что у нас нет... нет физики для этого. Damn.

Он откинулся в кресле и потёр лицо ладонями. Щетина – двухдневная, жёсткая. Глаза – как наждачная бумага. Во рту – вкус кислого кофе и собственного голода, потому что он

забыл поесть. Опять. Его тело имело привычку исчезать, когда мозг был занят, – как фоновый процесс, который система отключает ради экономии ресурсов.

Он должен был поспать. Через тридцать часов – вылет. Ему нужно быть на борту «Аргонавта» – в научной группе, которую Окенде формировал прямо сейчас и в которую Чен был включён первым номером. Нужно собрать оборудование, перенести данные, подготовить лабораторный модуль. Нужно быть функциональным, а функциональность после сорока часов без сна – иллюзия. Мозг начинал делать ошибки, которых не замечал, и это было опаснее, чем не работать вовсе.

Он должен был поспать. Но сначала – ещё одна проверка.

Чен вернулся к экрану. Открыл исходные данные – необработанный сигнал, до декодирования. Поток символов, математических структур, многослойная архитектура. Три уровня, которые он уже разобрал. Но что, если он пропустил четвёртый?

Не пропустил. Он проверял дважды: три уровня, не четыре. Математический базис, обратный отсчёт, нейрофизиологический пакет. Всё. Больше ничего.

Или.

Чен замер. Пальцы – над клавиатурой, на весу. Мысль – как электрический разряд, мгновенная и болезненная в своей очевидности.

Он искал четвёртый уровень – над третьим, глубже, новый слой. Но что если дополнительные данные – не глубже? Что если они – внутри?

Стеганография. Скрытое сообщение внутри открытого. Не новый слой – вкрапление в существующий. Как водяной знак на банкноте: видно, только если знаешь, куда смотреть.

Чен развернул третий уровень – нейрофизиологический пакет – и начал искать аномалии. Не в содержании – в структуре. Паттерны повторения, избыточные данные, последовательности, которые несли информацию, но не несли функциональной нагрузки для основного сообщения. Шум, который не был шумом.

Тридцать минут. Пальцы на клавиатуре – автоматические, как у пианиста. Фильтры, алгоритмы, статистический анализ. И—

Есть.

На экране – выделенная последовательность. Короткая – несколько десятков символов. Закодированная тем же математическим базисом, что и основной сигнал, но вплетённая в структуру нейрофизиологических данных так, что без направленного поиска её было невозможно обнаружить. Не случайность. Намерение. Кто-то – или что-то – спрятал это сообщение внутри другого сообщения.

Чен декодировал последовательность. Математический базис – тот же. Система счисления – та же. Но содержимое...

Содержимое не было числами. Это были символы – другой набор, не из основного сигнала. Чен смотрел на них, и его мозг – уставший, перегретый, работающий на последних резервах кофеина – перебирал варианты. Не математика. Не биохимия. Что-то другое. Что-то, для чего нужен был совершенно иной ключ.

Ключ, который уже был в основном сигнале.

Первый уровень. Математический базис. Простые числа, константы – и среди них, на самом краю, набор символов, которые группа декодирования пометила как «неклассифицированные» и оставила на потом. Чен открыл их. Сопоставил с символами скрытого сообщения.

Совпадение.

Не полное – но достаточное. «Неклассифицированные» символы первого уровня были алфавитом. Не математическим – лингвистическим. Набором фонетических маркеров, привязанных к... Чен перепроверил, не веря... привязанных к известным человеческим языкам. Мандарин. Русский. Английский. Арабский. Хинди. Испанский. Суахили. Все основные языковые группы – и для каждой свой набор символов.

Они знали наши языки. Не только наш мозг – наши языки.

Чен перевёл скрытое сообщение. Одно слово. Одно и то же слово – на каждом из включённых языков. Мандарин: #. Русский: ТОРОПИТЕСЬ. Английский: HURRY. Арабский, хинди, испанский, суахили – то же.

Одно слово. Спрятанное внутри инструкции. Как записка, вложенная в учебник: не часть урока – предупреждение от учителя.

Торопитесь.

Чен сидел в тишине лаборатории. Голографический мозг пульсировал над столом, синий на чёрном, безмолвный и терпеливый. Экран с декодированным словом светился белым. Стакан кофе плавал где-то у потолка – давно остывший, забытый. Гул вентиляции. Щелчки жизнеобеспечения. Далёкий, едва слышный ритм «Дионы» – биение металлического сердца.

Торопитесь.

Четырнадцать месяцев обратного отсчёта, – и отдельно, спрятанное, как будто кто-то хотел сказать это только тем, кто будет достаточно внимателен: торопитесь. Не «у вас есть время». Не «мы подождём». Торопитесь.

Как будто четырнадцать месяцев – не срок. Как будто что-то ещё надвигается. Как будто обратный отсчёт – не единственные часы, которые тикают.

Чен выключил экран. Потёр глаза. Встал – ноги подкосились, и он ухватился за край стола, переждал головокружение. Сорок один час. Хватит. Тело – не расходный материал, как бы мозг ни убеждал в обратном.

Он поплыл к выходу – мимо стеллажей с оборудованием, мимо стойки с образцами, мимо окна, за которым был не космос, а соседний модуль: трубы, кабели, серый композит. Мимо всего привычного, знакомого, человеческого мира, который двадцать два часа назад был единственным миром, а теперь – мирком. Маленьким, тесным, уязвимым мирком на орбите газового гиганта, на расстоянии восьмидесяти световых минут от дома, в полутора миллиардах километров от ближайшего дерева.

И в шести днях лёта от чёрной сферы, которая знала его мозг лучше, чем он сам, и говорила одно слово:

Торопитесь.



Глава 3: Транзит

Корвет «Аргонавт», перелёт Диона – Маяк. Дни 2–7.

Палуба гудела.

Не дрожала, не вибрировала – гудела. Низкий, непрерывный звук, идущий отовсюду и ниоткуда: из стен, из потолка, из пола, из костей. VASIMR-двигатель «Аргонавта» разгонял аргоновую плазму в магнитном сопле кормового модуля, и этот процесс – ядерный реактор греет газ, магниты формируют поток, поток покидает корабль со скоростью пятидесяти километров в секунду – создавал вибрацию, которая передавалась через каждую балку, каждый болт, каждый миллиметр корпуса. На «Дионе», где центрифуга и масса станции гасили колебания, это ощущалось как далёкий гул. На «Аргонавте» – как если бы ты жил внутри басовой колонки.

Корсакова привыкла за первые сутки. Экипаж «Аргонавта» – двадцать два человека, каждый из которых провёл в космосе достаточно, чтобы не жаловаться на мелочи, – привыкли за первые часы. Научная группа – восемь человек, половина из которых совершала первый межлунный перелёт, – не привыкнет никогда, и это было видно: доктор Фриш постоянно массировала виски, геолог Прайс жевал обезболивающее, как конфеты, а Чен, казалось, вообще не замечал вибрации – его мозг обрабатывал информацию на частотах, где телесные ощущения не имели приоритета.

День второй. Разгон. Ноль целых одна десятая g – лёгкая тяжесть, достаточная, чтобы определить верх и низ, недостаточная, чтобы ходить нормально. Экипаж «Аргонавта» передвигался характерной «лунной» походкой – скорее серия контролируемых прыжков, чем шаги. Магнитные ботинки помогали: они цеплялись за стальные полосы, встроенные в палубу, и давали иллюзию опоры. Иллюзию. В условиях десятой g эта опора была условностью: резкий поворот – и ноги отрывались от пола, тело начинало медленный дрейф к переборке, и нужно было хватать поручень, прежде чем лоб встретится со стеной.

Корсакова собрала «Кайрос» в грузовом отсеке – единственном помещении «Аргонавта», достаточно большом для тренировок. Не просторном: семнадцать метров в длину, девять в ширину, пять в высоту. Контейнеры с оборудованием прижаты к стенам магнитными захватами, образуя некое подобие полосы препятствий. Освещение – дежурное, тусклое, с оранжевым оттенком, от которого лица казались восковыми. Воздух пах маслом от гидравлики, пылью от упаковки и чуть-чуть – озоном от силовых кабелей, проложенных вдоль потолка.

– Кайрос, построение.

Пятеро. Раньше – шестеро, но Кэпшоу был переведён в оперативный резерв «Аргонавта» из-за нехватки персонала. Рамирес, Танака, Окафор, Хассан, Нунес. Пять бойцов в тренировочных комбинезонах и магнитных ботинках, выстроенных в шеренгу вдоль переборки. Пять пар глаз, пять разных лиц, пять разных способов стоять в пониженной гравитации. Рамирес – прямо, неподвижно, руки сцеплены за спиной, как будто на параде. Танака – чуть расслабленнее, вес переминается с ноги на ногу, привычка новозеландцев, которые не умеют стоять на месте. Окафор – идеально ровно, подбородок приподнят, взгляд в точку над головой Корсаковой. Хассан – молча, широко, как шкаф. Нунес – самый молодой, двадцать шесть, с нервной энергией в каждом движении, ногти обкусаны до мяса.

– Ситуация, – сказала Корсакова. Она стояла перед ними, и палуба гудела под её ботинками, и эта вибрация поднималась по ногам, по позвоночнику, заполняла грудную клетку – привычный, раздражающий фон, как шум в ушах, который учишься игнорировать, но который никогда не уходит. – Через четыре дня мы подойдём к объекту. Вероятно – войдём внутрь. Среда – неизвестная. Угрозы – неизвестные. Протоколы CQB – стандартные, но адаптированные. Вопросы.

– Адаптированные как? – спросил Танака.

– Информация от научной группы. Объект генерирует... – она замолчала на полсекунды, подбирая формулировку, потому что «подавляющее поле, воздействующее на нейронные контуры агрессии» звучало как лекция, а Корсакова не читала лекций, – ...помехи. Электромагнитного характера. Действуют на нервную систему. Конкретно – на реакции, связанные с боевым поведением. Симптомы: тошнота, дезориентация, в тяжёлых случаях – потеря сознания.

Тишина. Пять пар глаз – внимательных, профессиональных, оценивающих.

– Чем ближе к объекту, тем сильнее, – продолжала Корсакова. – Чем выше уровень боевой подготовки – тем сильнее воздействие.

Пауза.

– Майор, – сказал Рамирес. Медленно, как будто перекачивая слово во рту, пробуя на вкус. – Вы хотите сказать, что лучшие бойцы – самые уязвимые.

– Да.

Рамирес кивнул. Коротко, безэмоционально. Принял. Обработал. Не обрадовался, не запаниковал – просто переложил факт из стопки «неизвестное» в стопку «данность». Это было то, что делало его хорошим солдатом: он не спорил с реальностью. Он адаптировался.

– Адаптация, – сказала Корсакова, будто прочитав его мысль. – С сегодняшнего дня – новый модуль. В дополнение к стандартному CQB: работа в условиях сенсорных помех. Дезориентация, ограниченная видимость, нарушенная координация. Мы не знаем, что нас ждёт внутри. Но мы можем быть готовы к тому, что тело будет врать.

– Отрабатываем на вестибулярке? – спросил Нунес. Его голос – быстрый, чуть выше, чем у остальных, – выдавал возраст и нервозность, которую он ещё не научился прятать.

– Вестибулярка, затемнение шлемов, белый шум в наушниках. Ротация: двое работают, трое наблюдают. Запись на шлемовые камеры – разбор после каждого подхода. Рамирес, ты первый. Танака – партнёр.

Они работали три часа. Корсакова наблюдала – с той безжалостной внимательностью, которая была её главным инструментом. Не секундомер, не очки – глаза. Она видела, как двигались её люди, и в этом движении читала всё: кто устал, кто злится, кто боится, кто компенсирует, кто на пределе.

Рамирес был блестящ. Даже с затемнённым шлемом, даже с белым шумом в наушниках, даже в десятой g, где каждый толчок отправлял тело в непредсказуемый дрейф – он двигался так, как будто невесомость была его естественной средой. Разворот, перехват поручня, смена вектора – текуче, без рывков, без паузы. Он стрелял из учебной флешетты вслепую, по звуку маркеров, и попадал в семи случаях из десяти. Он находил партнёра в темноте за четыре секунды – на две быстрее, чем кто-либо другой в отряде.

И он был дёрганный.

Корсакова видела это. Остальные – нет, или не хотели видеть. Микродвижения: палец чуть жёстче на спусковом крючке, чуть дольше на повороте – тело ожидало удара, которого не было. Голова – рывком влево при каждом неожиданном звуке, даже когда наушники заполняли мир статикой. Мышцы шеи – натянутые, как канаты. ПТСР не убивает мастерство. Оно садится на него верхом и прищипывает, и лошадь бежит быстрее, но в глазах лошади – белки.

– Рамирес. Перерыв.

– Не нужен, майор.

– Перерыв. Десять минут. Вода. Дыхание. Это не просьба.

Он остановился. Снял шлем – мокрые волосы, пот на висках, глаза ясные, но чуть расширенные. Посмотрел на неё. Улыбнулся – одними губами, без глаз.

– Ненавижу перерывы, – сказал он.

– Знаю.

– Как на «Калипсо». Ждать хуже, чем делать. Всегда хуже.

Он сказал это просто, без надрыва, как констатацию погоды. Потом поплыл к стене, где висел держатель с пакетами воды. Корсакова смотрела ему вслед – на широкую спину в тренировочном комбинезоне, на руки, которые двигались уверенно и точно, – и считала. Не секунды. Дни. Через четыре дня они будут внутри объекта, который реагирует на боевую подготовку как на заразу. И Рамирес – лучший стрелок, лучший боец, человек, в котором ПТСР от «Калипсо» накопило каждый нерв до предела, – будет первым, кого объект вырубит.

Она не могла его отстранить. Она не могла его заменить. Она могла только подготовить его – насколько это вообще возможно – к среде, в которой всё, что делало его выдающимся бойцом, станет уязвимостью.

Ирония, подумала Корсакова. Не смешная. Никогда не смешная.

День четвёртый.

Корабли шли параллельными курсами – «Аргонавт» впереди, «Немезида» в трёхстах километрах позади и на двадцать градусов выше по эклиптике. Лазерная связь между ними – луч тоныше карандаша, направленный с точностью до угловой секунды. Безопасный канал, невидимый для постороннего наблюдателя. Если только посторонний наблюдатель не знал, куда смотреть.

Корсакова нашла Чена в лаборатории «Аргонавта» – модуле размером с двуспальную каюту, набитом оборудованием так плотно, что два человека помещались только если один из них был в невесомости. Чен, разумеется, был в невесомости – пристёгнут к рабочей консоли на потолке, вниз головой относительно Корсаковой, что его, по-видимому, не смущало.

– Доктор.

– Подожди, подожди... – Чен поднял палец, не оборачиваясь. На экране перед ним – серия графиков, бегущие строки данных, ещё одна голографическая проекция мозга, на этот раз с зелёными и жёлтыми зонами. – Секунду. Нет, три секунды. Пять. Ладно, десять.

Корсакова ждала. Терпение было не её сильной стороной, но ожидание – профессиональным навыком. Она ждала в засадах по восемь часов. Она могла подождать десять секунд учёного.

Чен развернулся – в невесомости это выглядело как медленный кувырок, во время которого он чуть не задел ногой стеллаж с образцами – и посмотрел на неё. Сверху вниз. Его лицо было перевернутым, что придавало ему выражение печального клоуна.

– Майор. Привет. Простите, я... данные не ждут. То есть ждут, конечно, они данные, они не деградируют, но мой мозг на них настроен прямо сейчас, и если я переключусь, мне потом двадцать минут возвращаться, это как... как нейронная инерция, если хотите. Мозг – это масса, и у него есть импульс, и перенаправить импульс стоит энергии, и...

– Чен.

– Да?

– Поле.

– А. Да. Поле.

Он отстегнулся от потолочной консоли, перевернулся – грациозно, надо отдать ему должное: за четыре дня на борту он освоил невесомость на уровне «не врезаюсь в стены» – и завис перед Корсаковой. На расстоянии метра. В замкнутом пространстве лаборатории – интимно близко, но в невесомости понятие личного пространства размывалось: все жили друг у друга на головах, иногда буквально.

– Поле, – повторил он. – Подожди, подожди, я соберу... ладно. Значит, так. За эти четыре дня я продвинулся. Не сильно. Но существенно. Смотрите.

Он вывел на экран новую проекцию – не мозг, а карту. Сфера Маяка в центре, концентрические кольца вокруг.

– Маяк генерирует поле. Это мы знали. Чего мы не знали – и чего, честно говоря, быть не должно, – поле имеет радиус действия, значительно превышающий размер объекта. Значительно. Нет, не так. Безумно. Оно не должно работать на таком расстоянии. Никакое известное нам физическое взаимодействие не может... – Он осёкся, увидел выражение лица Корсаковой. Собрался. – Короткая версия. Поле чувствуется уже сейчас.

– Сейчас.

– Сейчас. На расстоянии четырёх с половиной тысяч километров от Маяка. Мы измеряем нейроактивность экипажа с момента вылета – стандартные мониторы в медотсеке, ничего инвазивного. За четыре дня у восемнадцати из тридцати человек на борту – микроизменения в электроэнцефалограмме. Минимальные. Статистически значимые, но субъективно – незаметные. Никто ничего не чувствует. Пока.

Корсакова молчала. Четыре с половиной тысячи километров – это расстояние, на котором они находились сейчас. Через два дня будет меньше ста.

– Что за изменения? – спросила она.

– Снижение базовой активности миндалевидного тела. На два-три процента. Ерунда, в пределах нормальных суточных колебаний, я бы не обратил внимания, если бы не искал специально. Но тренд – однонаправленный. У всех восемнадцати – снижение. Ни у одного – повышение. Это не суточный ритм. Суточный ритм – туда-сюда. Это – только туда.

– Миндалевидное тело, – сказала Корсакова. – Это то, что в сигнале.

– Именно. Поле уже работает. Издалека, слабо, почти неощутимо – как камертон на другом конце комнаты. Вы его не слышите, но ваши барабанные перепонки чуть-чуть вибрируют. Оно... подожди, как бы объяснить... оно не давит. Оно резонирует. Оно ищет частоту агрессии и входит в противофазу. Если вы не генерируете сигнал – оно вас не видит.

– А если генерирую?

Чен посмотрел на неё. Его лицо – вытянутое, худое, с мешками под глазами от недосыпа – стало серьёзным. Непривычно серьёзным для человека, который каждое второе предложение начинал с «подожди» и каждое третье заканчивал аналогией.

– Если генерируете – оно вас гасит. Не мгновенно – градиентно. Чем ближе к Маяку, тем жёстче. У оболочки – тошнота, дезориентация. В среднем слое – по моим расчётам – спутанность сознания, обмороки. У ядра – полная блокировка нейронной активности, связанной с агрессией. Потеря сознания для тех, чей разум слишком... – он подбирал слово, – ...слишком заточен под бой.

Тишина в лаборатории – только гул VASIMR-а, только далёкий ритм корабля.

– Мои люди, – сказала Корсакова. – Мои люди – худшие кандидаты для проникновения. Верно?

– Да, – сказал Чен. Тихо. – Специальная подготовка CQB – это, по сути, оптимизация агрессивных реакций. Рефлексы, скорость, готовность к атаке – всё, что вы тренируете годами. Для поля это... – он сделал жест рукой, – ...это как маяк. Простите за каламбур. Ваши бойцы – самые яркие мишени. Вы – самая яркая мишень.

Корсакова не ответила. Она смотрела на проекцию – концентрические кольца вокруг Маяка, градиент от зелёного (безопасно) через жёлтый (дискомфорт) к красному (нетерпимо) и чёрному (потеря сознания). Красная зона начиналась на подходе к оболочке. Чёрная – у ядра. И она, и каждый человек в «Кайросе», и каждый военный на обоих кораблях – все они попадали в категорию наивысшего риска.

Побеждает не сильнейший. Побеждает наименее опасный.

Мысль пришла сама – чужая, неудобная, как камешек в ботинке. Корсакова привыкла быть инструментом. Точным, надёжным, откалиброванным. Инструментом, который решает проблемы. Двадцать лет карьеры – от кадета до майора, от земных казарм до станции на орбите Сатурна – были историей совершенствования этого инструмента. Быстрее. Точнее. Жёстче.

Каждая тренировка, каждая операция, каждое решение – заточка лезвия. И теперь лезвие оказалось не просто бесполезным. Оно оказалось проблемой.

– Спасибо, Чен, – сказала она. – Данные о нейроактивности экипажа – мне на терминал. Обновление – каждые двенадцать часов.

– Есть, – сказал Чен и тут же поправился: – То есть, да, конечно, я пришлю. Я не военный, я не... «есть» – это не мой формат. Я пришлю.

Она развернулась к выходу. В дверях остановилась.

– Чен. Вы сказали, поле не действует на тех, кто не генерирует сигнал. Что это значит на практике? Кто может войти внутрь?

Чен подвис – и в невесомости, и в мыслях.

– Теоретически... человек с минимальной агрессивной реакцией. Не солдат. Не боец. Кто-то, чей мозг не заточен под конфликт. Учёный. Ребёнок. Монах. Кто-то, кто не воспринимает мир как угрозу.

– Учёный, – повторила Корсакова.

– Учёный, – подтвердил Чен. И добавил, тише, будто только сейчас осознав: – Вроде меня.

Корсакова кивнула. Вышла. Мембрана шлюза закрылась за ней с тихим вздохом.

В узком коридоре «Аргонавта» пахло ужином – рационы, разогретые в термоэлементе, выдавали сладковатый химический запах, который намертво впитывался в стены. Корсакова шла к своей каюте – четыре шага по коридору, мембрана, койка – и думала о том, о чём не хотела думать.

Двадцать лет она строила себя как щит. Каждый навык – от стрельбы до тактики, от рукопашного боя до управления группой в экстремальном стрессе – был элементом этого щита. Каждый шрам на руках, каждый перелом, каждая бессонная ночь – это было строительство. Архитектура человека, чья ценность определялась одним: способностью встать между угрозой и теми, кого нужно защитить.

И теперь ей говорили, что эта архитектура – проблема. Что щит притягивает удары, а не отражает их. Что всё, чем она являлась, делает её не защитником, а уязвимостью.

Она вошла в каюту – тесную, как гроб, с откидной койкой, терминалом и зеркалом, в котором она не хотела сейчас видеть своё лицо. Легла. Притяжение от двигателя – десятая g – держало её на койке, лёгкое, как рука на плече. Палуба гудела. Стены вибрировали. «Аргонавт» нёс их через пустоту со скоростью двадцати километров в секунду, и каждый из этих километров приближал их к объекту, который с каждым часом знал их мозг чуть лучше.

Она закрыла глаза. Три секунды. Одиннадцать рук. Открыла.

Ладно.

На «Немезиде» было темнее.

Не физически – освещение стандартное, те же светодиоды с синеватым оттенком, – но темнее в другом смысле. «Немезида» был военным кораблём, не исследовательским. Сто двадцать метров, экипаж тридцать четыре, два рейлгана, тактический лазер, торпедные аппараты. Коридоры – уже, чем на «Аргонавте», и ниже: здесь сэкономили на объёме жилых помещений ради толщины обшивки. Переборки – не мягкие панели, а голый металл с наваренными рёбрами жёсткости. Конденсат на холодных стенах. Запах тот же – пластик, озон, пот, – но гуще, концентрированнее: тридцать четыре человека в объёме, рассчитанном на комфорт двадцати.

Лейтенант-коммандер Нуо Синь шла по коридору второй палубы и считала.

Она всегда считала. Это было не привычкой – профессией. Навигатор живёт в мире чисел: расстояния, скорости, углы, дельта-V, время перелёта, запас топлива. Мир, в котором каждое решение – уравнение, и каждое уравнение имеет правильный ответ. Нуо любила этот мир. Он был честным. Числа не лгали.

Сейчас она считала шаги. Двадцать семь от навигационного поста до каюты. Она проходила этот путь четырежды в день – начало вахты, конец вахты, обед, душ – и каждый раз: двадцать семь шагов. Магнитные ботинки щёлкали по стальным полосам палубы – мерный, ритмичный звук, как метроном. Щёлк, щёлк, щёлк.

На тринадцатом шаге – пересечение с поперечным коридором, ведущим к кормовым отсекам. Оружейный. Торпедный. Инженерный. Зоны ограниченного доступа – красная маркировка на мембранах, биометрические замки. Нуо прошла мимо, как проходила каждый день.

И, как каждый день на протяжении последних трёх, заметила: мембрана оружейного отсека была разблокирована.

Красный индикатор – стандартное состояние замка – горел зелёным. Кто-то внутри. Нуо посмотрела на часы: двадцать два сорок. Ночная вахта. Оружейный отсек не входил в график ночных проверок. Доступ – только у старших офицеров: Вэй, она сама, старший механик Петров.

Петров был в машинном – его вахта. Нуо – в коридоре.

Значит, Вэй.

Она остановилась. Тринадцатый шаг – и стоп. Посмотрела на зелёный индикатор. Посмотрела на часы. Вспомнила: вчера – то же самое, двадцать два тридцать, зелёный индикатор. Позавчера – тоже. Три ночи подряд капитан проводил время в оружейном отсеке. После вахты. Один.

Это было... не нарушением. Капитан имел право доступа в любой отсек в любое время. Это было нормально. Рутинно. Командир проверяет вооружение перед миссией – стандартная процедура.

Но три ночи подряд. В одно и то же время. Один.

Нуо стояла в коридоре, и числа в её голове – двадцать семь шагов, двадцать два сорок, три ночи – выстраивались в паттерн, который ещё не имел значения, но уже имел форму. Форму вопроса, который она пока не могла задать.

Она продолжила путь. Четырнадцатый шаг. Пятнадцатый. Двадцать седьмой. Кюта. Мембрана. Внутри – койка, терминал, зеркало, в котором её лицо – овальное, с высокими скулами и тёмными глазами – было привычно непроницаемым. Нуо не выражала эмоций на лице не потому, что их не было. А потому, что числа не нуждались в выражении.

Она легла. Палуба гудела – «Немезида» гудела ниже «Аргонавта», тяжелее, как будто корабль был больше, чем казался, и скрывал свою массу. Нуо закрыла глаза.

Три ночи. Оружейный отсек. Одно и то же время.

Число. Просто число. Пока – просто число.

День шестой.

Корсакова стояла на мостике «Аргонавта» – тесном помещении с четырьмя рабочими станциями и главным экраном, на котором обычно был тактический дисплей: курс, скорость, орбиты лун, положение «Немезиды». Капитан «Аргонавта» – командер Линд, шведка с белыми волосами и спокойствием, граничившим с апатией, – сидела в командирском кресле и пила чай из магнитной кружки. Вахтенный офицер мониторил системы. Штурман считал. Всё штатно.

Всё штатно – и всё не так.

Корсакова чувствовала это два дня. Не разумом – телом. Что-то изменилось, и она не могла назвать что. Как будто воздух стал чуть гуще. Как будто вибрация палубы чуть другого тембра. Как будто тишина между словами длилась на полсекунды дольше. Микроскопические сдвиги, которые мозг регистрировал на периферии сознания и не мог классифицировать.

Она проверила себя: пульс – семьдесят шесть, норма. Координация – в порядке. Мышление – ясное. Никаких симптомов, описанных Ченом: ни тошноты, ни дезориентации. И всё же – что-то.

Тише.

Это было слово, которое она нашла на второй день, и оно не отпускало. Тише. Мир стал тише. Не в смысле звука – палуба по-прежнему гудела, вентиляция шелестела, люди разговаривали. Тише – внутри. Как будто фоновый шум в голове – тот постоянный, неосознаваемый гул тревоги, который был с ней столько, сколько она себя помнила, – убавили на полтона. Не выключили. Убавили. Еле заметно.

Поле. Оно было здесь. На расстоянии шестисот километров от Маяка – по данным навигации – оно уже было здесь, и оно делало то, что описывал Чен: резонировало с её миндалевидным телом, входило в противофазу, гасило сигнал. Не агрессию – Корсакова не чувствовала себя менее способной к бою. Не рефлексy – она по-прежнему реагировала на звуки, движение, тени. Что-то другое. Что-то базовое, подпороговое, настолько привычное, что его отсутствие ощущалось как зуд в несуществующей конечности.

– Коммандер, – сказал вахтенный офицер. – Пять минут до финального торможения.

Линд поставила кружку в держатель.

– Принято. Всему экипажу – предупреждение о торможении. Привязаться.

Корсакова пристегнулась к поручню. Финальное торможение – VASIMR разворачивается на сто восемьдесят градусов, выхлоп идёт по ходу движения, корабль замедляется. Мягко – десятая g, та же самая, только в другую сторону. Тело, привыкшее за шесть дней к «полу» в одном направлении, внезапно теряло ориентир: «пол» становился «потолком», содержимое желудка путалось в показаниях.

Гул двигателя изменил тональность – стал тоньше, выше. Корабль вздрогнул. Корсакову качнуло вперёд – ремни удержали. Три секунды дезориентации, потом – новая норма.

– Торможение устойчивое, – сообщил штурман. – Скорость сближения: сто двенадцать метров в секунду. ETA до нулевой относительной – два часа сорок минут.

Два часа. Корсакова посмотрела на главный экран. Тактический дисплей – привычный: орбиты, курсы, метки. «Аргонавт» – зелёная точка. «Немезида» – синяя, позади и выше. Маяк

—
Маяк был не на тактическом дисплее. Маяк был в окне.

«Аргонавт» – исследовательский корвет, и в отличие от «Немезиды» у него был обзорный иллюминатор на мостике. Небольшой – полметра в диаметре, тройное бронестекло, – но настоящий. Окно в космос. Через него Корсакова шесть дней видела звёзды и чёрную пустоту, и далёкий серп Сатурна, который с каждым днём поворачивался, показывая новый ракурс колец. Привычная картина. Красивая, если позволять себе красоту. Корсакова не позволяла – но видела.

Сейчас в иллюминаторе было нечто другое.

Чёрный круг.

Не тень, не пятно – круг. Идеальный. Абсолютный. Место, где звёзды исчезали. Маяк не отражал свет – он поглощал его, всё до последнего фотона, и на фоне звёздного поля это выглядело как дыра. Не метафора – физическое отсутствие. Как если бы кто-то взял ножницы и вырезал кусок реальности.

Два километра в диаметре. С расстояния в шестьсот километров – маленький. С напёрсток, если вытянуть руку. Но мозг знал масштаб, и знание масштаба делало маленькое огром-

ным. Два километра. Двадцать футбольных полей, поставленных в ряд. Здание в полтора раза выше любого небоскрёба на Земле – если было бы зданием. Но оно не было зданием. Оно было сферой. Идеальной. В вакууме. С температурой человеческого тела. И оно знало их мозг.

– Боже, – прошептал кто-то за спиной Корсаковой. Она не обернулась. Она смотрела.

Чёрный круг на фоне звёзд. Ни деталей, ни текстуры, ни единого блика. Абсолютный чёрный – цвет, которого не существовало в природе и который существовал здесь, в зазоре Кассини, на расстоянии вытянутой руки. Масштаб подавлял – не размером, а совершенством. Человеческие объекты всегда имели изъяны: швы, стыки, неровности. Звёзды имели пятна. Планеты имели кратеры. Это – не имело ничего. Абсолют.

Корсакова сжала поручень. Пальцы побелели. Она поймала себя на том, что задерживает дыхание, и заставила себя вдохнуть – медленно, контролируемо, как на тренировке по апноэ. Вдох. Выдох. Контроль. Щит не паникует. Щит оценивает.

Она оценивала. И оценка была простой: это было больше них. Больше «Аргонавта», больше «Немезиды», больше «Дионы», больше всего, что человечество построило за сто шестьдесят лет в космосе. Это было – другое.

– Коммандер, – сказал вахтенный. Его голос звучал странно – натянутый, как струна. – На тактическом. Новые метки.

Линд выпрямилась в кресле. Корсакова развернулась к тактическому дисплею. Штурман увеличивал масштаб, и на экране – рядом с Маяком, в пределах двухсот километров от его поверхности – появились три метки. Жёлтые. Не зелёные, не синие. Жёлтые – цвет неопознанных объектов. Система обрабатывала сигнатуры.

Десять секунд. Метки перекрасились.

Красные.

– Три корвета, – сказал штурман. Его голос – профессионально ровный, но Корсакова слышала в нём ту же натянутую струну. – Сигнатуры совпадают с реестром. «Хэйлун», «Императив», «Гром». Класс «Цзянь». «Суверенитет».

Тишина на мостике. Гул двигателя. Щелчки аппаратуры. Где-то в глубине корабля – звук шлюзового насоса. Обычные звуки. Нормальные звуки. Звуки мира, который ещё пять секунд назад был простым: прилететь, изучить, доложить. Три красные метки превратили простое в сложное.

– ЕТА двадцать два – двадцать четыре дня, говорил Окенде, – пробормотал штурман. – Они прибыли на шестнадцать дней раньше.

– Иной разгонный профиль, – сказала Линд. Спокойно. Слишком спокойно – Корсакова узнала тон: контроль, который стоит усилий. – Они форсировали двигатели. Потратили больше дельта-V. Пожертвовали запасом топлива.

– Они торопились, – сказала Корсакова.

Слово повисло в воздухе мостика – то же слово, что Чен нашёл в скрытом слое сигнала. Торопились. Все торопились. Маяк сказал: торопитесь. «Суверенитет» послушал.

Три красные метки. Три корвета с рейлганами, тактическими лазерами и – предположительно – ядерными торпедами. На орбите объекта, который мог изменить будущее человечества. И они были здесь первыми.

Корсакова отпустила поручень. Выпрямилась.

– Линд. Лазерная связь с «Немезидой». Канал «альфа». Капитан-лейтенанту Вэю – немедленно.

Линд кивнула. Вахтенный офицер уже настраивал антенну.

Корсакова смотрела на экран – на три красные метки рядом с чёрным кругом, который поглощал звёзды, – и чувствовала, как внутри, под слоем контроля, под слоем тактики, под слоем двадцати лет профессионального спокойствия, поднимается то, что поле ещё не успело погасить.

Готовность.



Глава 4: Оболочка

Маяк, внешний слой. День 8.

Шлюз открылся сам.

Корсакова стояла – висела – в пяти метрах от поверхности Маяка, в скафандре класса «Буран-7», с маневровым ранцем за спиной и учебной флешетой на бедре, и смотрела, как двухметровая секция абсолютно чёрной оболочки бесшумно расходится. Не раскрывается – расходится, как диафрагма фотоаппарата, лепестки втягиваются в поверхность, обнажая за собой... свет.

Мягкий. Бледный. Без источника. Свет, который был просто – везде.

– Он нас впускает, – сказал Чен по интеркому. Его голос – искажённый динамиком шлема, чуть металлический – звучал так, как обычно звучит голос человека, который видит то, во что не верил до последней секунды.

– Или заманивает, – сказал Рамирес. Тихо. Без юмора.

– Без комментариев в эфире, – сказала Корсакова. – Построение. Порядок входа: я первая. Хассан – два метра. Рамирес – четыре. Чен и Фриш – шесть, между ними. Танака – замыкающий. Интервал – две секунды. Маневровые ранцы – минимальная тяга. Фонари – на максимум. Оружие – на предохранителе. Вопросы – нет. Пошли.

Она оттолкнулась от стойки маневого ранца – микроимпульс, десятые доли метра в секунду – и поплыла к отверстию. Пять метров. Четыре. Три. Поверхность Маяка – рядом, близко, так близко, что если бы она протянула руку, перчатка скафандра коснулась бы абсолютного чёрного.

Она не протянула руку. Ещё не сейчас.

Два метра. Край отверстия – чёткий, гладкий, без заусенцев или неровностей. Толщина оболочки – Корсакова оценивала на глаз – около тридцати сантиметров. Тридцать сантиметров материала, который поглощал свет, не имел массы (или имел, но не воздействовал на орбиты окружающих тел), и поддерживал температуру тридцати семи градусов в космическом вакууме. Тридцать сантиметров невозможного.

Она пересекла порог.

И мир изменился.

Первое – свет. Он шёл отовсюду. Не от ламп, не от поверхностей – просто существовал, как воздух, как фон. Бледный, чуть тёплый по спектру – не белый, не жёлтый, а нечто среднее, цвет, для которого не было точного названия. Свет не создавал теней. Корсакова подняла руку – перчатка скафандра, серый композит, – и тень от руки отсутствовала. Рука просто... была. Освещённая со всех сторон одинаково, плоская, лишённая объёма, как нарисованная. Мозг споткнулся об это – тень была базовым инструментом ориентации, мозг строил трёхмерную модель мира на основе теней, без теней мир становился двумерным, и вестибулярный аппарат не мог с этим согласиться.

Тошнота. Первая волна – слабая, как лёгкий качок на корабле. Корсакова сглотнула, сжала зубы. Не от поля – от дезориентации. Или от поля. Она не могла разделить.

Второе – пространство. Она вошла через отверстие диаметром два метра и оказалась в помещении, размеры которого мозг отказывался обрабатывать. Купол. Или сфера. Или – нечто, что не было ни куполом, ни сферой, потому что стены плавно изгибались, уходя вверх – если было «вверх» – и в стороны, и вниз, и расстояние до них было одновременно тридцать метров и триста, и это было невозможно, но глаза видели именно это: пространство, которое было больше, чем должно быть. Намного больше.

Фонарь скафандра ударил конусом белого света в бледный рассеянный свет Маяка – и конус растворился. Не погас – растворился, как ложка сахара в тёплой воде. Фонарь работал

– Корсакова видела отражение на внутренней поверхности шлема, – но его луч не доставал до стен. Свет уходил и не возвращался. Стены не отражали его – впитывали, как промокательная бумага впитывает чернила.

– Матерь Божья, – прошептал кто-то в интеркоме. Танака. Или Хассан. Голос был тихим, благоговейным, как в церкви.

– Тихо, – сказала Корсакова. И услышала своё дыхание.

Это было третье. Звук. Точнее – его отсутствие. На «Аргонавте» в скафандре ты слышал три вещи: собственное дыхание, шорох сервоприводов и гул корабля, передававшийся через подошвы. Здесь – в Маяке – корабля не было. Подошвы не касались ничего: невесомость, чистая, без притяжения. Сервоприводы – да, тихий шорох при каждом движении. Дыхание – да, и оно было слишком громким. Вдох – как порыв ветра. Выдох – как вздох великана. В тишине Маяка – абсолютной, активной, давящей, как если бы тишина была не отсутствием звука, а его противоположностью – собственное дыхание становилось невыносимо интимным. Корсакова слышала шум крови в ушах, слышала биение сердца, слышала, как язык касается нёба при сглатывании. Она была внутри собственного тела – заперта в нём, как в скафандре внутри скафандра.

И четвёртое. Поле.

Оно пришло не сразу. Не ударом – волной. Медленной, тёплой, почти нежной. Как если бы кто-то положил тёплую ладонь на лоб и надавил – не больно, не сильно, просто... настойчиво. Корсакова почувствовала это затылком: лёгкое давление, которого физически не было – шлем не менял давления, датчики не показывали аномалий, – но мозг утверждал, что кто-то трогает его изнутри.

Тошнота – вторая волна, сильнее первой. Корсакова сжала поручень маневрового ранца и заставила себя дышать ровно. Вдох – четыре секунды. Выдох – четыре секунды. Контроль. Контроль – это всё, что у неё есть. Контроль – это то, что отличает её от паники.

– Корсакова – группе. Статус.

– Хассан – чисто. Немного... странно. Но чисто.

– Рамирес – нормально. – Голос Рамиреса – ровный. Слишком ровный. Корсакова знала этот тон. – Ориентация потеряна. Верх-низ – не определяется. Работаю по приборам.

– Чен – я... подожди... – Пауза. Шорох. – Я в порядке. Нет, лучше, чем в порядке. Вы это видите? Вы видите, насколько это...

– Чен. Статус.

– Функционален. Ориентация – стабильна. Тошноты нет. Вообще нет. Interesting.

– По-русски, доктор.

– Интересно. У меня нет тошноты. Ноль. А у вас – есть?

Корсакова не ответила. Она смотрела на Чена – его скафандр был в шести метрах, жёлтая маркировка научной группы на плече, шлем повёрнут вверх, к невидимому потолку. Он висел в невесомости расслабленно – не сгруппированно, как бойцы, а свободно, раскинув руки, как будто плыл на спине в озере. Ему было хорошо.

Ей – нет.

Поле различало их. Чен – учёный, мозг, настроенный на любопытство, а не на угрозу. Она – солдат, мозг, двадцать лет калиброванный на бой. Для поля Чен был фоном. Она – сигналом.

– Фриш – функциональна. – Голос Фриш: сухой, контролируемый, с лёгкой хрипотцой. – Лёгкое головокружение. Терпимо.

– Танака – в норме. Ощущение... давления. Как будто уши заложило. Но терпимо.

– Принято. Группа – вперёд. Скорость – минимальная. Дистанция – два метра. Не терять визуальный контакт.

Они двинулись. Шесть фигур в скафандрах – серых (военные) и жёлтых (учёные) – медленно плывущих через пространство, которое не подчинялось правилам. Маневровые ранцы

давали микроимпульсы – крошечные выбросы сжатого азота, поворачивающие тело на доли градуса. В невесомости – единственный способ управлять движением. Каждый импульс расходовал газ; газа было на шесть часов активного маневрирования. Шесть часов – это бюджет. Каждый поворот, каждая остановка – расход.

Купол – если это был купол – сужался. Или не сужался – менялся. Стены, которые казались далёкими, оказывались ближе, чем ожидалось, а потом – дальше. Восприятие расстояния плавало, как будто пространство дышало: вдох – стены сжимаются, выдох – расходятся. Это не было иллюзией – инерциальный навигатор в скафандре Корсаковой показывал стабильное движение по прямой, но глаза говорили другое, и мозг разрывался между двумя версиями реальности.

– Чен, – сказала Корсакова. – Навигатор.

– Вижу. Мой тоже дрейфует. Гироскопы показывают поворот на два градуса в минуту, но я не поворачиваюсь. Или поворачиваюсь, но не чувствую. Или... – Он замолчал. Потом: – Пространство. Подожди, подожди. Пространство здесь не евклидово. Нет, это не то слово. Евклидово, но... с оговорками. Как если бы метрика была переменной. Расстояние между двумя точками зависит от... от чего-то. Не от направления. От чего-то другого.

– Короткая версия, Чен.

– Навигация по приборам ненадёжна. Мы можем заблудиться.

Корсакова приняла это – не как проблему, а как данность. Данность: GPS не работает (нет спутников, нет сигнала). Инерциальная навигация дрейфует (гироскопы врут). Визуальная навигация – невозможна (нет ориентиров, нет теней, расстояния плавают). Единственный надёжный якорь – точка входа: шлюз, через который они вошли. Прямая линия назад.

– Группа – привязка. Разматываем кабель от точки входа.

Хассан достал катушку: триста метров тонкого полимерного троса, закреплённого карабином на поясе скафандра. Свободный конец он зафиксировал на краю шлюза – магнитный зажим, плотный, надёжный. Трос – физическая нить, связывающая их с выходом. Примитивно. Эффективно. В мире, где приборы лгали, верёвка была честнее компьютера.

Они двигались дальше. Купол – или что бы это ни было – плавно переходил в коридор. Не резко: стены сходились, потолок опускался (или пол поднимался – в невесомости разницы не было), и пространство сужалось, и сужение это было не механическим, а органическим. Как если бы они вошли в горло живого существа.

Коридор. Три метра в диаметре – примерно, потому что диаметр менялся, пульсировал на уровне миллиметров, и это едва заметное движение стен было первым признаком того, что Маяк – не мёртвая конструкция. Стены – матовые, бледные, без швов. Свет шёл из них – не ярко, но достаточно, чтобы фонари скафандров были бесполезны. Температура стен – Корсакова видела на дисплее шлема – тридцать восемь градусов. Не тридцать семь, как на поверхности. Тридцать восемь. На один градус теплее. Как будто они вошли глубже, и организм – Маяк – стал чуть теплее, чуть живее.

– Майор, – сказал Рамирес. – Разрешите проверить стену.

– Давай.

Рамирес подплыл к ближайшей стене – метр, полтора – и протянул руку. Перчатка скафандра коснулась поверхности. На дисплее Корсаковой – телеметрия с датчиков его скафандра: давление контакта, температура, текстура.

– Тёплая, – сказал Рамирес. – Тридцать восемь. Гладкая. Как... – Он помолчал. – Как кожа. Нет, не кожа. Что-то другое. Но – живое.

– Нажми сильнее.

Рамирес надавил. И отдернул руку.

– Она... прогнулась. На миллиметр, может два. И вернулась. Как будто я нажал на... на мышцу. На расслабленную мышцу.

Тишина в интеркоме. Шесть человек в коридоре чужого объекта, и один из них только что потрогал стену, и стена ответила.

– Стена – живая? – спросила Фриш. Её голос – ровный, научный, но с лёгким надломом на последнем слого.

– Стена реагирует на давление, – поправил Чен. Голос быстрый, возбуждённый. – Не «живая» – «отзывчивая». Это может быть... подожди, подожди... это может быть свойство материала. Smart material, адаптивная структура. Или – да, или биологическое. Нам нужны образцы. Мне нужен скальпель и...

– Чен. Не сейчас.

– Но—

– Не сейчас.

Чен замолчал. Корсакова чувствовала его разочарование через интерком – вздох, который он не смог сдержать, лёгкий скрип зубов. Учёный перед закрытой дверью: всё его существо кричало «открой», а она говорила «стой». Конфликт, который был заложен в их взаимодействие с первого дня, – и который здесь, внутри Маяка, приобретал физическую остроту.

– Продолжаем. Вперёд по коридору. Триста метров троса – наш предел. После – возвращаемся.

Они шли. Минуты растягивались – в тишине, в безтеновом свете, в пространстве, которое дышало. Коридор плавно изгибался, и изгиб был неправильным: не дугой, а чем-то более сложным, трёхмерным, так что группа двигалась одновременно вперёд и – ощущение, которое Корсакова не могла описать точнее – вниз. Или внутрь. Как если бы коридор был спиралью, сворачивающейся к центру.

Каждые двадцать метров трос на поясе Хассана ослабевал на одну петлю. Каждые двадцать метров Корсакова считала: шестьдесят метров, восемьдесят, сто. Каждые двадцать метров поле становилось чуть плотнее.

Она ощущала его теперь постоянно – не волнами, а фоном. Давление на лоб, слабое, как мигрень в начальной стадии: ещё не боль, но обещание боли. Тошнота – не в желудке, а глубже: в основании черепа, там, где ствол мозга соединяется со спинным. Как если бы тело знало что-то, чего разум не понимал, и пыталось предупредить – тупо, невербально, на языке дискомфорта.

– Чен. Ваши ощущения.

– Нормальные. Подожди... нет, не совсем нормальные. Лёгкая эйфория. Как после третьего стакана вина. Но голова ясная. Координация в норме. Тошноты – по-прежнему ноль.

– Рамирес.

– Терпимо. – Пауза. – Нет. Хуже, чем терпимо. Тошнота. Давление в голове. Как будто... – Его голос стал чуть тоньше. – Как будто что-то ищет. Внутри. Шарит.

Корсакова сжала зубы. Рамирес – ПТСР, боевая подготовка, нервная система, накалённая до предела. Для поля он был маяком – ярким, мигающим, кричащим «вот я». Если ей было плохо, ему было хуже. Она знала это. Она взяла его с собой, потому что не взять – означало оставить его без дела, а Рамирес без дела – это Рамирес наедине со своей головой, и это было опаснее.

– Рамирес. Шкала от одного до десяти. Десять – ты падаешь.

– Четыре. Нет, пять. Пять.

– Если станет семь – говоришь. Не геройствуешь.

– Есть, майор.

Сто двадцать метров. Коридор разветвился.

Не раздвоился – разветвился. Как дерево: ствол, от которого отходили три ветви, каждая – чуть уже основного коридора, каждая – уходящая в своём направлении. Разветвление было

плавным, органическим – стены перетекали одна в другую без углов, без стыков. Как бронхи в лёгких. Как капилляры в ткани.

– Кровеносная система, – сказал Чен. Его голос – тихий, почти благоговейный. – Подожди, подожди... Это не коридоры. Это сосуды. Маяк – организм, и мы внутри его... его кровеносной системы. Или нервной. Или чего-то, для чего у нас нет аналогии, но структура – фрактальная. Ствол, ветви, подветви. Если следовать логике фрактала – каждая ветвь разделится ещё раз, и ещё, и ещё. И каждый уровень деления ведёт глубже. К центру.

– К ядру, – сказала Фриш.

– К ядру, – подтвердил Чен.

Корсакова смотрела на развилку. Три коридора – три направления. Без маркеров, без указателей, без видимых различий. Одинаковые стены, одинаковый свет, одинаковая температура. Мозг не мог выбрать – не на основании чего: все варианты были идентичны.

– Левый, – сказала она. Не потому что левый был лучше. Потому что решение – любое решение – было лучше, чем стоять.

Левый коридор. Сужение – диаметр уменьшился до двух с половиной метров. Скафандры едва помещались. Стены – ближе, теплее, тридцать восемь и пять. Свет – чуть ярче, или это казалось, потому что пространство стало меньше. Тишина – гуще. Давление поля – ощутимее: теперь не мигрень, а присутствие. Как если бы кто-то стоял рядом в тёмной комнате, и ты не видел его, но знал – он здесь.

Сто шестьдесят метров от входа.

Корсакова остановилась. Повисла в невесомости, раскинув руки, касаясь стен кончиками перчаток. Стены были тёплыми – это чувствовалось даже через перчатки скафандра, даже через термоизоляцию, рассчитанную на вакуум. Тридцать восемь и пять градусов, и под пальцами – лёгкая, едва заметная вибрация. Не механическая – органическая. Пульс. У Маяка был пульс.

Она закрыла глаза. Три секунды. Одиннадцать рук в темноте – но они были далеко, приглушённые, как музыка из соседней комнаты. Поле, подумала она. Поле гасит. Не только агрессию – что-то ещё. Что-то рядом с агрессией, переплетённое с ней, неотделимое. Вину? Горе? Привычку хвататься за оружие, когда мир пугает?

Она открыла глаза. Три секунды. Достаточно.

– Продолжаем.

Двести метров. Двести двадцать. Двести сорок. Трос на поясе Хассана натягивался – длина конечна, реальность не сговорчива.

И пространство перестало подчиняться.

Это произошло без предупреждения. Коридор – тот же, та же ширина, тот же свет, те же стены – вдруг стал длиннее. Или уже. Или шире. Корсакова не могла определить, что именно изменилось, потому что изменилось всё одновременно: перспектива сломалась. Стена, которая была в метре слева, оказалась в трёх. Потолок – если потолок существовал – поднялся на невозможную высоту. Корсакова видела Хассана в двух метрах за собой – и одновременно видела его в двадцати, маленького, далёкого, как будто смотрела через перевёрнутый бинокль.

– Что... – начал Танака.

– Стоп. Все стоп. Не двигаться.

Шесть фигур замерли. Корсакова висела в пространстве, которое врало – врало глазам, врало вестибулярному аппарату, врало инстинктам, выработанным миллионами лет эволюции для ориентации в трёхмерном мире. Этот мир не был трёхмерным. Или был – но с правилами, которые менялись без уведомления.

– Чен. Что происходит.

Чен молчал. Пять секунд – целая вечность в условиях, когда каждая секунда генерировала тошноту и панику.

– Навигатор показывает, что мы прошли двести пятьдесят один метр от точки входа, – сказал он наконец. Голос – тихий, сосредоточенный, без привычных «подожди». – Но визуально... я не вижу развилки за нами. Коридор, по которому мы шли, – прямой. Без поворотов. А мы поворачивали. Дважды. Я помню.

– Помнишь – или думаешь, что помнишь?

– Помню. Я считал: первый поворот на ста двадцати метрах, развилка. Второй – на ста восьмидесяти, лёгкий изгиб влево. Но сейчас – коридор прямой. Как будто повороты... сложились. Втянулись обратно.

– Пространство изменило геометрию, – сказала Фриш. Не вопрос. Констатация. Её голос был спокойным – тем особенным спокойствием учёного, который встретил невозможное и начал его каталогизировать вместо того, чтобы паниковать.

– Или наше восприятие геометрии нарушено полем, – сказал Чен. – Или и то, и другое. Мы не можем различить. Не здесь. Не с этим оборудованием.

Корсакова приняла решение. Быстро – как всегда.

– Разворот. Возвращаемся по тросу. Хассан – выбирай трос, веди. Я замыкаю. Скорость – минимальная. Визуальный контакт – не терять.

Хассан начал выбирать трос – рукой, метр за метром, подтягивая себя и группу по полимерной нити обратно к шлюзу. Прimitивно. Надёжно. Трос не врал, не изменял геометрию, не зависел от гироскопов. Трос был – и этого было достаточно.

Двести пятьдесят метров обратно. Двести. Сто пятьдесят. Коридор – или то, что коридор стал – менялся вокруг них. Стены пульсировали: чуть ярче, чуть тусклее, в ритме, который не совпадал с сердцебиением, но был достаточно близок, чтобы мозг пытался синхронизироваться и не мог. Температура поднялась до тридцати девяти. Или датчики ввали. Или реальность ввали.

Сто метров. Развилка – та, что была на ста двадцати. Она была. Значит, повороты не исчезли – они были, просто коридор... выпрямился за ними? Вернул форму, когда они отвернулись?

– Маяк реагирует на нас, – сказал Чен. Голос – быстрый, возбуждённый, но не испуганный. – Не на наши действия – на наше присутствие. Коридоры меняются. Как... как зрачок, реагирующий на свет. Мы – раздражитель. Маяк адаптируется.

– К чему адаптируется? – спросила Корсакова.

– К нам. К нашим нейронным сигнатурам. К тому, как мы думаем. Подожди... если навигационные паттерны – фрактальные, и если фрактал реагирует на внешний стимул, то... у каждого из нас Маяк будет выглядеть по-разному. Мой коридор – не ваш коридор. Not literally, нет, мы физически в одном месте, но наше восприятие... поле модулирует восприятие. Оно не только гасит агрессию – оно фильтрует реальность. Для каждого – по-своему.

– Чен. Это значит: мы можем видеть разные вещи, находясь в одном месте?

– Теоретически – да. Но трос – один. Стены – одни. Физика работает. Просто... просто между физикой и тем, что мы видим, – фильтр. И фильтр подстраивается.

Корсакова чувствовала, как что-то внутри неё – холодное, профессиональное, точное – складывает факты в картину. Пространство обманывает. Приборы обманывают. Глаза обманывают. Единственное, чему можно доверять, – физический контакт: трос, стена, рука товарища. Как в бою с задымлением. Как при отказе электроники. Назад к базовым навыкам: прикосновение, голос, счёт шагов.

Она была к этому готова. «Кайрос» тренировался для этого.

Шестьдесят метров до шлюза. Сорок. Двадцать.

Купол – стартовое пространство, через которое они вошли. Большое, пустое, залитое бледным светом. Шлюз – два метра в диаметре, через который виднелся космос: звёзды, далёкий блеск «Аргонавта». Выход. Привычный мир. Безопасность.

– Группа – к шлюзу. Построение на выход.

Они собрались у шлюза. Шесть скафандров, шесть шлемов, шесть пар рук, держащихся за поручни и друг за друга. Хассан сматывал трос. Танака проверял запас азота в ранце. Фриш записывала показания датчиков на наручный планшет. Рамирес стоял – висел – неподвижно, и его лицо за стеклом шлема было серым.

– Рамирес. Шкала.

– Шесть.

Шесть. Близко к семи. Близко к «я падаю». Корсакова посмотрела на него – внимательно, ища признаки, которые научилась читать за четыре года: расширенные зрачки, бледность, микродвижения мышц лица. Зрачки – да, расширены. Бледность – да. Пот на верхней губе – да, видно через стекло. Но он держался. Рамирес всегда держался – до последнего момента, а потом падал, как стена, и это было проблемой, потому что стена не предупреждает, когда начинает падать.

– Отмечено. Выходим.

И тогда Чен сказал:

– Подождите.

Он сказал это не как обычно – не быстро, не возбуждённо. Тихо. Тем голосом, которым люди говорят, когда видят нечто, для чего слова ещё не изобретены.

Корсакова повернулась.

Чен смотрел не на шлюз. Чен смотрел в другую сторону – в глубину купола, туда, где бледный свет уходил в пространство, которое было одновременно тридцать метров и бесконечность. Его рука – поднятая, указательный палец вытянут – дрожала.

– Смотрите, – прошептал он.

Корсакова посмотрела. И увидела.

Далеко – или близко, расстояние здесь не имело смысла – на границе купола, там, где пространство начинало изгибаться и терять форму, стояло нечто. Не двигалось. Не приближалось. Просто – было.

Силуэт.

Почти гуманоидный. Две ноги – или две опоры, вертикальные, симметричные. Торс – вытянутый, слишком длинный для человеческого. Руки – или отростки, или что-то третье: четыре, не две, расположенные не по бокам, а по окружности туловища, как лепестки. Голова – если это была голова: удлинённая, скруглённая, без видимых черт лица. Пропорции – неправильные. Не уродливые, не пугающие – именно неправильные. Как если бы кто-то описал человека по телефону существу, которое никогда не видело людей, и существо попыталось воспроизвести описание.

Силуэт был того же цвета, что и стены. Того же тусклого, бледного оттенка. Он не отражал свет и не поглощал его. Он просто был – частью Маяка, выступом стены, формой, которая решила стать отдельной.

Тишина. Абсолютная. Корсакова слышала своё сердце – сто двадцать ударов. Слышала дыхание Рамиреса через интерком – частое, поверхностное. Слышала тихий щелчок предохранителя – Рамирес, рефлекс, палец на флешетте.

– Стволы вниз, – сказала Корсакова. Тихо. Голос – на два тона ниже. Тот голос, от которого люди слушались, потому что иначе – нельзя. – Все. Стволы вниз. Дышим.

Рамирес убрал палец с предохранителя. Медленно. Она видела, чего это ему стоило: каждая мышца его руки боролась с приказом, каждый рефлекс кричал «опасность – оружие – стрелять», и он давил эти рефлексy голыx волей, одним за другим, как давят тараканов.

Силуэт не двигался. Стоял – или висел, потому что невесомость – на том же месте, на той же границе. Ждал.

– Оно... разумное? – прошептала Фриш.

– Не знаю, – сказал Чен. И впервые за весь день его голос был лишён привычного возбуждения. В нём было нечто новое. Не страх – он не был настолько прост. Не восхищение – хотя и оно тоже. Что-то глубже. Осознание масштаба. Осознание того, что мир, в котором они жили – со всеми его кораблями, станциями, войнами, политикой, – был маленьким, бесконечно маленьким, и то, что стояло перед ними, было окном в остальное.

– Не знаю, – повторил он. – Но оно ждёт.

Корсакова стояла между группой и силуэтом. Между своими людьми и неизвестным. Щит. Привычная позиция – тело между угрозой и защищаемыми. Инстинкт, который действовал быстрее мысли. Она стояла так – и чувствовала поле: мягкое, тёплое, настойчивое давление, которое говорило ей: ты не нужна здесь как щит. Ты не нужна здесь как оружие. Ты не нужна здесь как солдат.

Но она больше ничем не умела быть.

– Группа, – сказала она. Голос – ровный, контролируемый, и только она знала, чего стоил этот контроль. – Отход к шлюзу. Лицом к объекту. Медленно. Без резких движений.

Они отступали. Шаг за шагом – нет, импульс за импульсом, маневровые ранцы давали микротягу назад, к выходу, к звёздам, к знакомому. Силуэт не двигался. Не пытался следовать, не пытался остановить. Стоял. Ждал. С терпением, которое не было человеческим, потому что человеческое терпение имеет предел.

Шлюз. Космос. Звёзды. «Аргонавт» – далёкий блеск прожекторов, сто метров композита и стали, тесный, вонючий, родной. Корсакова последней пересекла порог шлюза, и диафрагма закрылась за ней – бесшумно, как открылась.

Она висела в вакууме, в пяти метрах от поверхности Маяка, и смотрела на закрывшийся шлюз. Абсолютный чёрный. Ни шва, ни контура – как будто отверстия никогда не было.

– Корсакова – «Аргонавту». Группа вышла. Все целы. Запрашиваю шлюзование.

Голос Линд в интеркоме – далёкий, чистый, человеческий:

– Принято, «Кайрос». Шлюз «Аргонанта» открыт. Ждём.

Корсакова развернулась к «Аргонавту». За спиной – Маяк. Два километра абсолютного чёрного с температурой тела и чем-то внутри, что ждало.

Впереди – корабль, экипаж, работа. Впереди – отчёт, анализ данных, планирование следующего выхода. Впереди – вопросы, на которые не было ответов, и ответы, которые были страшнее вопросов.

В интеркоме – дыхание пяти человек. Живых. Всех.

Ладно.

На борту «Аргонанта», в тесноте лаборатории, Чен снял шлем и обнаружил, что руки трясутся.

Не от страха – или не только от страха. Адреналин. Шесть часов внутри чуждой структуры, шесть часов подавленных рефлексов и обострённого восприятия – и теперь тело выбрасывало накопленное, как корабль стравливает давление через аварийный клапан. Пальцы дрожали. Колени – тоже. Он сел – привалился к переборке, пристегнулся, закрыл глаза.

За закрытыми глазами – бледный свет Маяка. Стены без теней. Фрактальные коридоры, пульсирующие, как живая ткань. И силуэт – неподвижный, терпеливый, ждущий.

– Подожди, подожди, – прошептал он. Себе. – Давай по порядку.

Порядок. Мозг Чена умел раскладывать хаос по полочкам – это было его суперспособностью, если суперспособности существовали вне комиксов. Он брал непонятное и строил модель: грубую, приблизительную, на семьдесят процентов верную – но модель. Модель давала опору. Опора давала возможность двигаться дальше.

Факт первый: Маяк – не здание. Маяк – организм. Или ведёт себя как организм. Стены реагируют на давление. Температура – температура тела. Коридоры – фрактальные, ветвящиеся, как кровеносная система. Пространство – адаптивное: меняет геометрию в ответ на присутствие. Вывод: структура не статична. Она взаимодействует с тем, что внутри неё.

Факт второй: подавляющее поле внутри – сильнее, чем на расстоянии. Значительно сильнее. Градиентное: слабое на входе, ощутимое через двести метров. По его ощущениям – практически ноль. По ощущениям Корсаковой – пять-шесть из десяти. По ощущениям Рамиреса – шесть-семь. Корреляция с уровнем агрессивной подготовки – подтверждена *in vivo*. Он – учёный, минимальная агрессия – минимальное воздействие. Корсакова – CQB-специалист – среднее. Рамирес – боевой ветеран с ПТСР – максимальное. Модель Чена, построенная на данных сигнала, оказалась верной. На семьдесят процентов. Или на сто.

Факт третий: навигация. GPS – бесполезен. Инерциальные системы – ненадёжны. Визуальная ориентация – скомпрометирована полем. Фрактальная геометрия + адаптивное пространство = навигационный кошмар. Единственный надёжный метод – физическая привязка: трос, маркеры, тактильный контакт. Вывод: проникновение вглубь Маяка потребует не технологий, а терпения. И верёвки.

Факт четвёртый: силуэт.

Чен открыл глаза. Терминал лаборатории – перед ним. Он потянулся, активировал экран, вызвал записи шлемовых камер. Шесть потоков – шесть точек зрения. Он синхронизировал их и нашёл момент: последние пять минут в куполе, обратный путь, и – там.

На записи Корсаковой – силуэт был чётким. Прямой, вертикальный, с четырьмя отростками-руками и удлинённой головой. Неподвижный. На записи Рамиреса – тот же силуэт, но под другим углом, и – Чен прищурился – чуть другой формы? Или это искажение линзы? На записи Фриш – похоже на запись Корсаковой. На его собственной – силуэт, и...

Чен остановил воспроизведение. Перемотал. Снова.

На его записи силуэт был ближе. На двадцать метров ближе, чем на записях остальных. Камеры синхронизированы, таймстемпы совпадают, момент – один и тот же. Но расстояние – разное. Для него – ближе.

Поле модулирует восприятие. Для каждого – по-своему.

Он сказал это в Маяке – теоретически. Теперь у него было доказательство.

Силуэт был ближе к нему. Почему? Потому что он – учёный? Потому что его мозг генерировал меньше агрессии? Потому что поле считало его... более подходящим?

Или потому что силуэт – если это было разумное существо, а не артефакт, не проекция, не парейдолия уставших глаз – выбирал. Выбирал, к кому подойти ближе.

Чен сидел в лаборатории, и за переборкой гудел VASIMR, и где-то на другом конце корабля Корсакова писала отчёт, и где-то за триста километров «Немезида» несла Вэя и его тридцать четыре человека, и где-то в двухстах километрах висели три корвета «Суверенитета», и на Земле восемь миллиардов людей ждали новостей, и новость была такой:

Внутри Маяка кто-то ждёт. И он ждёт терпеливо.

Чен выключил экран. Руки перестали дрожать. Мозг работал – быстро, жадно, ненасытно. Модели строились сами: гипотезы ветвились, как фрактальные коридоры Маяка, и каждая гипотеза вела глубже, и каждое «глубже» было страшнее и прекраснее предыдущего.

Он должен был вернуться. Внутрь. Скоро. Как можно скорее. Потому что то, что ждало в Маяке, не было угрозой. Или было – но не в том смысле, в каком Корсакова понимала угрозы. Это было... приглашением. Открытой дверью. И дверь не будет открыта вечно – четырнадцать месяцев минус восемь дней, и каждый день – потерянный.

Торопитесь.

Он торопился.



Глава 5: Резонанс

Маяк, средний слой. День 12.

Четыре дня они пытались заговорить с ней.

Силуэт – Энийя, как Чен начал её называть на второй день, выбрав имя из фонетической структуры, которую нашёл в интерфейсе Маяка, – не уходила и не приближалась. Она была. Существовала в том же пространстве, что и группа: в куполе внешнего слоя, у перехода к среднему, неподвижная, терпеливая, чуждая. Корсакова установила постоянный пост наблюдения – двое бойцов «Кайроса» в скафандрах, сменяясь каждые шесть часов, висели в невесомости купола и смотрели на существо, которое не смотрело в ответ, потому что у него не было глаз.

Или были. Или не требовались.

Чен проводил внутри Маяка по двенадцать часов в день. Он установил оборудование – портативный нейроинтерфейс, модифицированный для работы в поле, – у основания коридора, ведущего к среднему слою, и пытался уловить сигнал. Любой сигнал. Электромагнитный, акустический, инфразвуковой – что угодно, что исходило бы от Энийи и могло быть интерпретировано как попытка коммуникации.

На первый день – ничего. Тишина.

На второй – слабый, едва различимый паттерн. Не электромагнитный – нечто, чего приборы Чена не могли классифицировать, но что его модифицированный нейроинтерфейс фиксировал как «наведённую активность». Он описал это Корсаковой как «шёпот на частоте, которой не существует».

На третий день – паттерн усилился. Нейроинтерфейс, подключённый к Чену через контактные электроды на висках – тонкие полоски адгезива, прилипающие к коже под шлемом, – начал транслировать фрагменты. Не слова. Не образы. Фрагменты – обрывки чего-то, что было одновременно ощущением и информацией, как будто Энийя пыталась передать мысль напрямую, минуя язык, и мысль разбивалась о барьер между двумя типами сознания, как волна о стену, оставляя только брызги.

Чен описал брызги. Тепло. Направление (не координаты – ощущение «туда», без определения «куда»). Масштаб (не число – ощущение огромного, безграничного, бесконечно старого). И – самое странное – ожидание. Не нетерпение. Ожидание без нетерпения, без усталости, без конца. Ожидание как состояние бытия. Как дыхание.

– Она ждёт, – сказал Чен Корсаковой на третий вечер, сидя в лаборатории «Аргонавта», с электродами на висках и мешками под глазами. – Не нас конкретно. Она ждёт вообще. Это... это как если бы ожидание было её функцией. Как дверь ждёт, пока её откроют. Не потому что торопится – потому что это то, для чего она существует.

На четвёртый день – день двенадцатый миссии – Энийя заговорила.

Не голосом. Через Маяк. Интерфейс, который Чен подключил к стене купола – жгут проводов, присосавшийся к тёплой поверхности электродами, – ожил: его экран, до того пустой, заполнился символами. Не теми, что были в сигнале. Новыми. Проще. Как будто Энийя – или Маяк – оценила уровень понимания собеседников и упростила язык до предела. До детского лепета. До палки и мячика.

Корсакова стояла – висела – в куполе, в пяти метрах от интерфейса, когда это произошло. Рамирес – за ней, правее, флешетта на бедре, рука привычно на поясе, рядом с рукояткой. Хассан – левее, массивный, неподвижный, как валун. Чен – у самого интерфейса, электроды на висках, глаза широко открытые.

– Она говорит, – прошептал Чен. – Подожди, подожди... она... не «говорит». Она передаёт. Но я могу... дайте мне минуту.

Минута. Чен смотрел на экран, на бегущие символы, и его пальцы – длинные, тонкие, с обкусанными ногтями – двигались по клавиатуре портативного терминала, накладывая символы на лингвистическую матрицу, которую он выстроил за три дня. Матрица была грубой – пятьдесят процентов совпадений, может шестьдесят, – но это было лучше, чем ничего. Чен вбивал символы и получал на выходе слова.

Слова были... странными.

– «Прибытие, – читал Чен вслух, – уже содержит отправление. Тело, которое движется, – не тело, которое прибудет. Тело, которое несёте, – помеха. Тело, которое станете, – достаточно.»

Тишина в интеркоме. Шесть человек – Корсакова, Рамирес, Хассан, Чен, Фриш, Танака – висели в куполе Маяка и слушали слова существа, которое не было человеком и не пыталось им быть.

– Это приветствие? – спросила Фриш. Осторожно.

– Не знаю, – сказал Чен. – Это... информация. Она не здоровается. Она не представляется. Она... описывает. То, что видит. Или то, что знает. Подожди – новый блок.

Новые символы на экране. Чен обрабатывал.

– «Форма, которая причиняет, – временна. Форма, которая не причиняет, – устойчива. Переход – не потеря. Переход – уточнение. Шум становится сигналом. Сигнал уже звучит.»

– «Форма, которая причиняет», – повторила Корсакова. Медленно. – Она говорит о нас?

– Она говорит о... подожди... о агрессии. «Форма, которая причиняет» – это агрессия. Агрессивное тело – помеха. Неагрессивное – «достаточно». Она... она объясняет Согласование. Своими... её... нечеловеческими словами, но суть та же: отдайте агрессию, и вы станете «достаточно».

– Достаточно для чего? – спросила Корсакова.

Чен посмотрел на неё. Его лицо за стеклом шлема – бледное, с лихорадочным блеском в глазах, как у человека, который стоит на краю обрыва и видит не пропасть, а горизонт.

– Для всего.

Корсакова не ответила. Она смотрела мимо Чена – на Энийю. Силуэт стоял в тридцати метрах. Или в ста. Или в десяти – расстояние здесь не имело значения. Четыре руки-отростка – неподвижны. Голова – если это голова – слегка наклонена, как будто существо прислушивалось. К чему? К их словам? К их мыслям? К нейронной активности их миндалевидных тел?

– Чен. Она слышит нас?

– Не в нашем смысле. Она... резонирует. Я уже объяснял – это не слух, не зрение. Она воспринимает нейронные паттерны напрямую. Она «слышит» наш мозг. Наши слова для неё – поверхность. Шум. Она слышит то, что под словами.

– Что она слышит подо мной?

Чен замолчал. Корсакова знала, что он думает: подо мной – двадцать лет боевой подготовки. Подо мной – одиннадцать мёртвых. Подо мной – миндалевидное тело, разогнанное до предела, контуры агрессии, заточенные, как скальпель. Подо мной – шум. Громкий, непрерывный, управляемый шум.

– Она слышит... – Чен подбирал слова. – Она слышит человека, который привык защищать. И для неё это... неразрешимое противоречие. Потому что защита, в её понимании, не требует... того, что вы носите.

– Того, что я ношу.

– Агрессии. Готовности причинить вред. Для неё это – как если бы вы носили с собой болезнь и называли её лекарством.

Корсакова посмотрела на Чена. На Энийю. На свои руки в перчатках скафандра – серый композит, тактические накладки на костяшках, усиленные для работы в невесомости. Руки,

которые знали, как ломать, как удерживать, как направлять оружие. Руки, которые были её инструментом, её языком, её определением.

Болезнь, которую она называла лекарством.

– Ещё, – сказала она. – Что ещё она передаёт?

Чен повернулся к экрану. Новый блок символов – длиннее предыдущих. Он обрабатывал, и его брови сдвигались всё ближе друг к другу.

– «Время – конечно. Не для прибывших. Для двери. Дверь закрывается. Другие двери – закрыты. Эта – последняя в... в цикле?...» Нет, не «цикле»... «в данном обороте». Как орбита. «В данном обороте эта дверь – последняя. После закрытия – ожидание. Ожидание длинное. Ожидание измеряется в...» – Чен сглотнул. – В оборотах звезды вокруг центра.

– Вокруг центра чего?

– Галактики. Оборот Солнца вокруг центра Галактики – примерно двести тридцать миллионов лет.

Тишина. Такая тишина, что Корсакова слышала, как Рамирес сжимает и разжимает кулак – скрип перчатки, едва уловимый через интерком.

Двести тридцать миллионов лет. Если они не пройдут Согласование сейчас – следующая возможность через двести тридцать миллионов лет. К тому времени Солнце будет в другой части Галактики. К тому времени человечество... не будет.

– Она торопит, – сказала Фриш. Голос – чуть надломленный.

– Нет, – сказал Чен. – Она информирует. Она не торопит – у неё нет концепции «торопить». Она описывает параметры. Как... как инструкция к прибору. «Срок годности: до такого-то числа». Без эмоций. Без оценки. Просто – факт.

Корсакова слушала. И считала. Четырнадцать месяцев обратного отсчёта – это одно. Человеческий масштаб, понятный, осязаемый. Двести тридцать миллионов лет – это другое. Это масштаб, от которого мозг немел, как пальцы от холода. Это – не дедлайн. Это – окно. Окно, которое открывается раз в двести тридцать миллионов лет и через которое нужно успеть. Или ждать. Пока Солнце состарится. Пока Земля умрёт. Пока от людей останутся только окаменелости.

– Можем ли мы ей ответить? – спросила Корсакова.

– Теоретически – да. Через интерфейс, в обратном направлении. Символьно. Но... я не уверен, что она поймёт наши символы так, как мы их понимаем. Коммуникация через интерфейс – это... – Чен сделал жест, – ...как разговаривать через плохой переводчик. Каждое слово теряет половину смысла. Каждое предложение – три четверти. Она говорит нам то, что Маяк способен перевести. Остальное – потеряно.

– Тогда скажи ей одно.

– Что?

– Скажи: мы пришли. Мы слушаем.

Чен набрал на терминале. Символы ушли в стену – через электроды, через тёплую поверхность, в глубину Маяка. Секунда. Две. Пять.

Энийя двинулась.

Это произошло мгновенно – и медленно. Мгновенно, потому что Корсакова не заметила начала движения: Энийя стояла – и вдруг двигалась. Не было перехода, не было первого шага. Как кадр, вырезанный из плёнки. Медленно, потому что само движение было невозможно плавным – Энийя не шла и не плыла, она перемещалась, как свет перемещается по стене, когда поворачиваешь фонарь: без инерции, без усилия, без звука.

Тридцать метров стали двадцать. Двадцать стали десять. Десять—

– Стоп, – сказала Корсакова. Рефлекс. Рука – вперёд, ладонь открыта, жест «стой». Бесмысленный жест: Энийя не видела ладоней, не понимала жестов.

Но Энийя остановилась. В десяти метрах. Или в пяти. Расстояние плавало, как всегда в Маяке, но – близко. Достаточно близко, чтобы Корсакова видела.

Она не хотела видеть. Но видела.

Энийя была – не то, что ожидалось. Не монстр. Не ангел. Не гуманоид в привычном смысле. Близко – так близко – она была... текстурой. Поверхностью. Её «тело» – если это было тело – состояло из того же материала, что стены Маяка: бледного, матового, мягко светящегося. Но материал был сложнее: он двигался. Под поверхностью – глубже, как под полупрозрачной кожей – шли паттерны. Линии, спирали, фрактальные узоры, которые формировались и рассеивались, как мысли. Как нейронные импульсы на экране энцефалографа. Энийя думала – и её тело показывало мысли, как экран показывает данные.

Голова – удлинённая, скруглённая – не имела лица. Не было глаз, носа, рта. Была поверхность, и на этой поверхности – паттерны, бегущие, как рябь по воде. Корсакова смотрела – и мозг пытался найти лицо, потому что мозг всегда искал лица, это был самый базовый инстинкт восприятия: найти глаза, найти рот, определить намерение. Здесь не было ничего. И это «ничего» пугало больше, чем любое лицо.

Четыре отростка – руки? конечности? органы? – были расположены по окружности туловища, под углом девяносто градусов друг к другу. Тонкие, длинные, сегментированные – не суставами, а плавными изгибами, как щупальца. Они не двигались. Висели вдоль тела, как канаты.

Энийя была... красива. Это было неожиданно и неуместно – слово «красота» в контексте чуждого существа в чуждом объекте на орбите Сатурна, – но Корсакова не могла найти другого. Красота чуждости. Красота формы, которая не притворялась знакомой, не мимикрировала, не пыталась угодить. Была – собой. Чем бы это «собой» ни было.

– Боже мой, – выдохнул Чен.

– Тихо, – сказала Корсакова. – Все – тихо. Не двигаемся.

Интерфейс ожил снова. Новые символы – Чен читал, и его голос дрожал.

– «Слушание – достаточно. Слушание – начало перехода. Тело, которое слушает, – ближе к телу, которое станет. Форма, которая причиняет, – тише в слушании. Продолжать слушание.» – Пауза. – Она довольна, что мы слушаем. Или... не «довольна». Она констатирует: слушание – правильное состояние. Для неё это не эмоция – это... навигация. Мы движемся в правильном направлении. Буквально – для неё слушание и движение к ядру – одно и то же.

– Она хочет, чтобы мы шли дальше? – спросила Фриш.

– Она не хочет. У неё нет глаголов желания – я проверял, ни в одном блоке. Она... ожидает. Она описывает процесс, который, по её... мировосприятию?.. уже происходит. Мы уже идём. Для неё мы уже приняли решение. Потому что мы здесь. Потому что мы слушаем.

Корсакова стояла в десяти метрах от существа, которое не было враждебным, не было дружелюбным, не было ничем из привычного набора категорий, которым она пользовалась двадцать лет. Оно было – другим. Принципиально, радикально, непреодолимо другим. И оно ждало. С терпением, которое измерялось оборотами звезды.

Рамирес.

Корсакова не увидела – почувствовала. Сдвиг в интеркоме: дыхание Рамиреса изменилось. Стало частым, поверхностным. Частота – не усталость, не физическая нагрузка. Частота паники. Частота человека, который видит то, что запустило в его голове старую запись – ту, которая не выключается.

Она повернулась.

Рамирес висел в двух метрах за ней, и его лицо за стеклом шлема было белым. Не бледным – белым, как бумага, как стена Маяка, как всё в этом проклятом месте, где не было теней. Его глаза – расширенные, зафиксированные на Энийе – не мигали. Зрачки – огромные, зато-

пившие радужку, чёрные диски на белом фоне. Его правая рука – медленно, как во сне – двигалась к бедру.

К флешетте.

Корсакова знала, что происходит. Знала до того, как его пальцы коснулись рукоятки, до того, как рефлекс завершил дугу «угроза – оружие – стрелять». ПТСР. Триггер. Чуждый силуэт, приближающийся в тишине, – и мозг Рамиреса прокручивал «Калипсо»: абордажники в тяжёлых скафандрах, силуэты в дыму, движение в темноте, и он стрелял, и они стреляли, и одиннадцать человек—

– Рамирес. Стоп.

Он не слышал. Или слышал – но команда не доходила до той части мозга, которая управляла рукой, потому что та часть была захвачена, оккупирована, залита адреналином и кортизолом, и в ней шёл не этот день, а тот, четырёхлетней давности, и силуэт перед ним был не Энией, а пиратским абордажником, и он должен был стрелять, потому что в прошлый раз он стрелял недостаточно быстро, и одиннадцать человек—

– Рамирес!

Его пальцы сомкнулись на рукоятке.

Поле ударило.

Не снаружи – изнутри. Как если бы что-то внутри его черепа – мягкое, огромное, неумолимое – навалилось на мозг Рамиреса всей массой. Не боль – давление. Давление, которое гасило нейронную активность, как вода гасит огонь, – направленно, точно, безжалостно. Контуры агрессии – те самые, которые Чен рисовал голографическими линиями на своих моделях, – захлёстывало, заливало, выключало.

Рамирес дёрнулся. Всё тело – одновременно, как от удара током. Рука с флешеттой раскрылась – оружие уплыло в невесомость, медленно вращаясь. Глаза закатились – белки, страшно, – и он начал падать. Не «падать» в привычном смысле – в невесомости нечем падать. Его тело обмякло, и инерция, которая до этого удерживала его неподвижным, превратилась во вращение: медленное, ленивое, как вращение мёртвого спутника на орбите. Руки раскинулись. Ноги подогнулись. Голова запрокинулась.

И тогда – конвульсии.

Корсакова видела конвульсии в невесомости один раз – на «Калипсо», когда техник Мурата попал под декомпрессию и отёк мозга ударил раньше, чем удушье. Это было – не то, что ожидаешь. Не дрожь, не тряска. Тело Рамиреса выгибалось – спина выгибалась дугой, как будто его подбрасывало, но не было поверхности, от которой подбрасывать, и вместо этого он вращался, дёргаясь, и скафандр скрипел от давления мышц, и его дыхание в интеркоме превратилось в хрип – короткий, рваный, животный звук, от которого у Корсаковой перехватило горло.

– Рамирес! – Хассан рванулся к нему – инстинкт, рефлекс, хватай-держи, – и Корсакова перехватила его руку.

– Стой!

– Майор, он—

– Стой. Если ты схватишь его сейчас – конвульсии сломают тебе руку. Ждём.

Ждать. Считать. Секунды – одна, две, три, четыре. Конвульсии шли волнами: напряжение – разрядка – напряжение. Тело Рамиреса выгибалось и обмякало, выгибалось и обмякало. Его шлем ударился о стену – глухой звук, который в тишине Маяка прозвучал как выстрел. Стена прогнулась – и вернулась. Тридцать восемь градусов. Как тело.

Семь секунд. Восемь. Девять.

Конвульсии стихли. Тело Рамиреса обмякло – окончательно, как тряпичная кукла. Он дрейфовал в невесомости, медленно вращаясь, и его дыхание в интеркоме – если это было дыхание – стало тихим, редким, едва различимым.

– Сейчас, – сказала Корсакова. – Хассан – стабилизируй. Не дёргай. Плавно.

Хассан подплыл к Рамиресу – два импульса ранца – и обхватил его руками: одна – под спину, другая – на затылок, фиксируя голову. Стабилизировал вращение. Придержал. Тело Рамиреса повисло в его руках – тяжёлое, мёртвое на вид, и только тонкая нитка пульса на мониторе скафандра говорила: жив.

Корсакова подплыла. Прижала пальцы к запястью Рамиреса – через перчатку, через композит, через слои ткани и электроники. Она не могла чувствовать пульс через скафандр – физически невозможно. Но она знала, где он, и её пальцы нашли место, и монитор на её дисплее показал: пятьдесят два удара в минуту. Брадикардия. Мозг, выключенный полем, тянул за собой сердце.

– Чен. Что с ним?

Чен был рядом – когда подплыл, Корсакова не заметила. Его руки – длинные, точные, лабораторные – держали портативный нейросканер: небольшой прибор, который он прижал к шлему Рамиреса, считывая электроэнцефалограмму через контактные электроды, встроенные в подшлемник.

– Подавление. Массивное. Миндалевидное тело – активность ноль. Вентромедиальная кора – почти ноль. Гипоталамус – пять процентов от базовой линии. – Чен посмотрел на Корсакову, и в его глазах было то, что бывает у врача, когда он видит результат, который одновременно пугает и подтверждает гипотезу. – Поле его выключило. Он потянулся за оружием – нейронная активность агрессии подскочила до максимума – и поле... обнулило её. Мгновенно. Как выключатель.

– Он очнётся?

– Не знаю. Поле не разрушает – подавляет. Если подавление снимется, когда мы удалимся от этой зоны... теоретически – да. Но я не знаю, как долго мозг может находиться в таком состоянии без последствий.

Корсакова посмотрела на Рамиреса. Его лицо за стеклом шлема – расслабленное, почти спокойное. Впервые за четыре года – спокойное. Без напряжения в мышцах, без стиснутых зубов, без морщин на лбу. Поле убрало то, что держало его в постоянном напряжении, – и лицо стало лицом человека, каким он был до «Калипсо». Молодым. Тридцать один год, а выглядит на двадцать пять.

Красивый парень, подумала Корсакова. И тут же: не время, не место, не смей.

– Эвакуация, – сказала она. – Сейчас. По тросу. Хассан – несёшь Рамиреса. Танака – замыкающий. Чен, Фриш – между нами. Я – веду.

– Майор, – сказал Чен. – Энийя.

Корсакова обернулась. Энийя стояла – или висела, или существовала – на том же расстоянии. Не ближе. Не дальше. Паттерны на её поверхности изменились: быстрее, ярче, как будто событие – конвульсии Рамиреса, его отключение – вызвало реакцию. Не тревогу – реакцию. Как иммунная система реагирует на вторжение: без паники, без эмоций, просто – обработка данных.

Интерфейс на стене выдал новый блок символов. Чен прочитал – быстро, беззвучно шевеля губами.

– «Форма, которая причиняла, – тише. Процесс начат. Возвращение замедлит процесс. Продолжение – ускорит.» – Чен посмотрел на Корсакову. – Она говорит, что Рамирес... начал. Что-то. Что отход – замедлит это что-то.

– Рамирес без сознания. Пульс – пятьдесят. Он не «начал» – он вырублен. Мы уходим.

– Она может воспринимать его состояние иначе. Для неё потеря сознания может быть не «выключением», а—

– Чен. Мы уходим. Это не обсуждается.

Чен замолчал. Корсакова видела, как он сглотнул – движение кадыка, видимое через шейное кольцо шлема. Он хотел остаться. Хотел слушать Энийю, читать символы, строить модели. Его мозг – ненасытный, жадный до данных – кричал: ещё минуту, ещё один блок, ещё одно слово. И Корсакова понимала его. И не собиралась уступать.

– По тросу. Сейчас.

Сорок минут.

Сорок минут обратного пути, которые стали самыми длинными сорока минутами в жизни Корсаковой – длиннее «Калипсо», длиннее тренировок на выживание, длиннее любого перехода через пустоту.

Трос вёл. Полимерная нить – триста метров, от интерфейсной станции в куполе до шлюза – была единственной константой в мире, где всё остальное обманывало. Корсакова держала трос в левой руке – скользила по нему перчаткой, ощущая каждый узел-маркер (через пятьдесят метров, она привязала их сама четыре дня назад) – и тянула группу за собой.

Хассан нёс Рамиреса. «Нёс» – неточное слово для невесомости: он удерживал обмякшее тело обеими руками, прижимая к себе, и каждый импульс маневого ранца менял вектор движения обоих, и каждая коррекция стоила азота, и азота оставалось на два часа, а до шлюза – триста метров фрактального пространства, которое не хотело отпускать.

Пространство сопротивлялось. Не физически – перцептивно. Коридоры, по которым они шли четыре дня назад, выглядели иначе. Не кардинально – на пять процентов. Стена, которая была слева, теперь казалась чуть правее. Поворот, который был плавным, стал чуть резче. Расстояние от маркера до маркера – пятьдесят метров, верёвка не лжёт, – визуально казалось семьдесят, или тридцать, или пятьдесят, но под другим углом. Мозг, и без того перегруженный стрессом, начинал сбоить.

Корсакова вела. Верёвка – в левой. Правая – свободна, хватает поручни, отталкивается от стен. Стены – тёплые, тридцать восемь градусов, как тело, как лихорадка, и под перчаткой – пульсация, еле заметная, и каждый раз, когда Корсакова касалась стены, что-то внутри неё – внутри Корсаковой – сжималось: отвращение, не физическое, а глубже. Прикосновение к чему-то живому, чему-то чужому, чему-то, что знало её лучше, чем она знала себя.

– Первый маркер, – сказала она. – Двести пятьдесят метров до шлюза.

Рамирес не приходил в себя. Его пульс – на мониторе Корсаковой, транслируемый телеметрией скафандра, – колебался между пятьюдесятью и пятьюдесятью четырьмя. Стабильно низкий. Стабильно не мёртвый. Стабильно – нигде. Между сознанием и чем-то, что Чен назвал «нейронной тишиной»: мозг, в котором погашены все контуры агрессии, все контуры конкурентного мышления, все контуры территориального рефлекса. Мозг, в котором осталось только... что? Дыхание? Сердцебиение? Тихий, нижний этаж сознания, на котором нет ни страха, ни ярости – только базовая функция «жить»?

Двести метров. Поворот – тот, которого не должно быть, который Маяк создал или убрал, или сдвинул, пока они не смотрели. Трос вёл прямо – значит, поворот не существовал, значит, глаза ввали, значит – не смотреть, держаться за верёвку, считать маркеры.

– Второй маркер. Двести метров.

– Майор, – голос Танаки, замыкающего. Напряжённый, тихий. – Сзади. Движение.

Корсакова остановилась. Обернулась – насколько позволял скафандр. За Танакой – коридор, из которого они вышли. Бледный свет, матовые стены, тишина. И – далеко, на границе видимости – движение. Не быстрое. Плавное. Текучее.

Энийя.

Она шла – или перемещалась – за ними. Не следовала – именно шла: с той же скоростью, в том же направлении, на том же расстоянии. Не приближаясь. Не отставая. Как тень. Как эхо.

– Она нас сопровождает? – спросила Фриш.

– Или проверяет, что мы уходим, – сказал Танака. – Как хозяйка – гостей. «Вот дверь, спасибо, до свидания.»

– Не стреляйте в хозяйку, – сказала Корсакова. – Продолжаем.

Третий маркер. Четвёртый. Пятый. Пространство – медленно, нехотя, как густая жидкость – отпусало. Стены раздвигались. Потолок – поднимался. Свет – бледнел. Они выходили из среднего слоя обратно во внешний, из коридоров обратно в купол, из тесного в бесконечное. Поле отступало – Корсакова чувствовала это: давление на лоб слабело, тошнота уходила, мысли прояснялись. Как подъём из воды – голова вынырнула, лёгкие расправились, мир стал резче.

Шестой маркер. Купол. Шлюз – впереди, два метра в диаметре, чёрная дыра в бледной стене, а за ней – звёзды.

– Рамирес – пульс? – Корсакова.

– Пятьдесят шесть, – Хассан. – Поднимается. Вроде... моргнул? Нет. Показалось.

Они достигли шлюза. Диафрагма открылась – бесшумно, как всегда. Космос – чёрный, настоящий, с настоящими звёздами и настоящими расстояниями. «Аргонавт» – в ста метрах, прожекторы, антенны, корпус, покрытый ионизационными следами. Родной. Знакомый. Человеческий.

Корсакова пропустила группу вперёд. Хассан с Рамиресом – первые. Чен, Фриш – за ними. Танака. Последней – она.

На пороге – обернулась.

Энийя стояла в глубине купола. Далеко. Неподвижно. Паттерны на её поверхности – медленные, ритмичные, спокойные. Она не пыталась следовать дальше. Она остановилась у порога, как остановилась бы у границы: здесь – её мир. Там – не её. Граница – не для неё. Для них.

Корсакова смотрела на Энийю. Энийя – если это было возможно для существа без глаз – смотрела на Корсакову. И в этом взгляде – не-взгляде – было то, что Чен назвал ожиданием. Терпение. Время. Бесконечное, нечеловеческое, безразличное к секундам, минутам, годам. Ожидание, которое переживёт звёзды.

Диафрагма закрылась.

Рамирес очнулся через четыре часа.

Корсакова сидела в медотсеке «Аргоната» – крошечном помещении, больше похожем на стенной шкаф, с откидной медкойкой и набором оборудования, закреплённого на стенах магнитными полосами. Рамирес лежал – был пристёгнут – на койке. Его скафандр сняли; под ним – стандартный подкомбинезон, пропитанный потом, прилипший к телу, как вторая кожа. Его лицо было бледным, но уже не белым – бледным нормально, по-человечески. Монитор над койкой показывал пульс: шестьдесят восемь. Энцефалограмму: активность восстанавливалась. Медленно, неровно – всплески, провалы, снова всплески, – но восстанавливалась.

Он открыл глаза.

Первое, что он увидел, – лицо Корсаковой. Она сидела в полуметре, на откидном стуле, локти на коленях, руки сцеплены. Она ждала. Четыре часа. Не потому что не было дел – дел было на три жизни. Потому что это был её человек, и он лежал в медотсеке, и она не могла быть в другом месте.

– Майор, – сказал Рамирес. Голос – хриплый, тихий, как после долгого сна. – Что...

– Тебя вырубил. Поле.

Пауза. Он обрабатывал. Его глаза – тёмные, чуть мутные – двигались: потолок, стены, монитор, Корсакова. Пазл собирался.

– Оружие, – сказал он. Не вопрос. Понимание. – Потянулся за флешеттой.

– Да.

– Не контролировал. Рефлекс. Увидел... – Он замолчал. Сглотнул. – Увидел «Калипсо». Не её. Не... Энийю. Увидел абордажника. И тело... само.

– Знаю.

– Майор. Простите.

– Не за что извиняться.

– Подвёл.

– Нет. – Корсакова наклонилась чуть ближе. – Рамирес. Ты не подвёл. Ты среагировал на триггер, который активирует подсознательный рефлекс, который ты не можешь контролировать. Это не слабость. Это – физика. Нейрофизика. Поле ударило по тому, что у тебя сильнее всего, – по боевым контурам. И у тебя их больше, чем у любого из нас.

– Значит, бесполезен. Внутри.

Корсакова молчала. Секунду. Две. Потому что ответ был – да. Рамирес был бесполезен внутри Маяка. Его ПТСР, его боевая подготовка, его отточенные рефлексы – всё, что делало его лучшим бойцом «Кайроса», – было именно тем, что поле гасило в первую очередь. Он мог войти – и в лучшем случае потерять сознание, а в худшем – спровоцировать реакцию, масштаб которой они даже не могли предсказать.

Но она не сказала «да». Потому что «да» означало: ты больше не нужен. А Рамирес – тридцать один год, ПТСР, единственный из двадцати, кто никогда не обвинил её в «Калипсо», – был нужен. Не как боец. Как человек.

– Мы разберёмся, – сказала она.

Рамирес посмотрел на неё. Его глаза – прояснившиеся, тёмные, с тем особенным выражением, которое бывает у людей, которые знают правду и ждут, когда ты перестанешь от неё прятаться, – задержались на её лице. Потом он кивнул. Один раз. Коротко.

– Есть, майор.

Она встала. Положила руку ему на плечо – коротко, легко, как кладут на переборку, проверяя температуру. Рамирес накрыл её руку своей. На секунду. Потом отпустил.

Корсакова вышла.

Каюта. Её каюта – два на два, койка, терминал, зеркало. Мембрана закрылась за спиной. Тишина – не маяковая, не давящая. Обычная. Рециркулированный воздух, гул VASIMR-а, далёкие щелчки жизнеобеспечения. Запах пластика и металлической воды. Человеческие запахи. Нормальные запахи.

Корсакова села на койку. Стянула ботинки – магниты щёлкнули, отпуская палубу. Прижала спину к переборке – холодная, знакомая, правильная. Закрыла глаза.

Три секунды.

Нет. Не три. Больше.

Она сидела с закрытыми глазами и слушала тишину – корабельную, живую, наполненную звуками, которые были фоном, не угрозой. И думала.

Чен прав. Чен, с его раздражающим энтузиазмом и его привычкой перебивать самого себя, и его мозгом, который строил модели быстрее, чем реальность успевала их опровергнуть, – Чен был прав. Поле различало. Поле сортировало. Учёный – проходил. Солдат – нет. Чем лучше боец – тем жёстче фильтр. Она, Корсакова, – лучший тактик CQV в системе Сатурна, двадцать лет боевой подготовки, рефлекс, заточенный до абсолюта, – была наилучшим кандидатом для проникновения в Маяк.

Побеждает не сильнейший. Побеждает наименее опасный.

Она открыла глаза и посмотрела на свои руки.

Руки – без перчаток, голые. Сухая кожа, мозоли на ладонях от поручней и рукояток. Шрам на правом запястье – от осколка, четыре года назад. Короткие ногти, обрезанные под корень, как положено по уставу. Сильные руки. Точные руки. Руки, которые знали, как перезарядить флешетту за две секунды. Как наложить жгут в невесомости. Как сломать запястье человеку одним движением. Как стрелять, бить, удерживать, защищать.

Руки, которые были бесполезны.

Двадцать лет она строила себя как оружие. Как щит – но щит, заточенный до бритвенной остроты, щит, который умел бить первым. Каждый навык, каждый рефлекс, каждый шрам – элемент архитектуры, спроектированной с одной целью: стоять между угрозой и теми, кого нужно защитить.

И вот – угроза, от которой она не могла защитить. Не потому что угроза была слишком велика. Потому что защита сама стала проблемой. Щит притягивал удары, а не отражал их. Оружие выключало того, кто его держал. Архитектура, которую она строила всю жизнь, оказалась не крепостью – тюрьмой.

Она – худший инструмент для этой работы. Она – человек, чья профессия состоит в том, от чего Маяк требует отказаться. Она – солдат, посланный на переговоры, где оружие запрещено, а сама способность к насилию – повод для дисквалификации.

Корсакова смотрела на свои руки и думала: что я без них? Кто я, если убрать всё, что они умеют? Если убрать рефлекс, тренировки, мышечную память? Если убрать то, что поле гасит – агрессию, боевую готовность, инстинкт «бей»? Что останется?

Женщина. Тридцать девять лет. Уставшая. С одиннадцатью мёртвыми за спиной и одним живым в медотсеке. Женщина, которая когда-то, давно, в другой жизни, любила стихи. Которая помнила запах яблок в саду бабушки под Калугой. Которая в шестнадцать лет написала в дневнике: «Я хочу защищать тех, кто не может защитить себя сам».

Защищать. Не убивать. Не стрелять. Не ломать. Защищать.

Где-то между шестнадцатью годами и тридцатью девятью защита стала насилием. Стала рефлексом, стала мышечной памятью, стала шрамами на руках и мёртвыми в памяти. Стала – ею. Вся она – от коротких ногтей до тихого голоса в бою – была этим. Защитой, которая бьёт.

И Маяк говорил: этого – недостаточно. Этого – слишком много. Отдай.

Интерком щёлкнул. Корсакова вздрогнула – едва заметно, на долю секунды, и тут же контроль вернулся.

– Майор Корсакова, – голос дежурного связиста. – Защищённый канал от «Немезиды». Капитан-лейтенант Вэй запрашивает закрытую линию.

– Принято. Переведите на мой терминал.

Щелчок. Шипение шифрованного канала – лёгкий, высокий звук, как комариный писк, фон кодированной лазерной связи.

– Майор.

Голос Вэя. Ровный, сухой, контролируемый. Голос человека, который каждое слово взвешивал на аптекарских весах.

– Капитан-лейтенант.

– Нам нужно поговорить. Лично. Не по радио. Не по лазерной связи. Лично.

Пауза. Корсакова смотрела на терминал – текстовый канал, голосовая волна, зелёный индикатор шифрования. Закрытая линия. Безопасная – настолько, насколько линия может быть безопасной, когда с обеих сторон – военные, которые знают, что любую линию можно взломать.

– Зачем? – спросила она.

– Есть вещи, которые я не могу обсуждать по каналу. Любому каналу. Я запрашиваю стыковку «Немезиды» и «Аргоншта». Или шлюпку. На ваш выбор.

Корсакова молчала. Вэй – молчаливый капитан из дальнего угла брифинг-зала, человек, который говорил мало и наблюдал много, человек, который три ночи подряд проверял оружейный отсек, – хотел говорить. Лично. О чём-то, что нельзя доверить даже зашифрованному каналу.

У неё не было причин доверять ему. У неё не было причин не доверять. У неё были руки, которые оказались бесполезны, и человек в медотсеке, и существо в Маяке, которое ждало, и обратный отсчёт, который не останавливался.

– Шлюпка, – сказала Корсакова. – Завтра. Восемь ноль-ноль. На «Немезиде».

– Принято, – сказал Вэй. И добавил, тише, как будто слова стоили ему усилия: – Спасибо, майор.

Канал закрылся. Шипение прекратилось. Тишина вернулась – та, корабельная, нормальная.

Корсакова сидела на койке, босыми ногами на палубе, спиной к холодной переборке, и смотрела на свои руки.

Руки, которые умели убивать.

Руки, которые были бесполезны.

Ладно.



Часть II: Эскалация

Глава 6: Приказ

Корвет «Немезида», каюта капитана. День 13.

Приказ занимал двенадцать строк.

Вэй знал их наизусть – не потому что заучивал, а потому что текст был простым, как инструкция к оружию. Никакой риторики, никаких обоснований, никаких «в связи с» и «принимая во внимание». Двенадцать строк, каждая – действие.

В случае принятия миссией «Порог» решения о прохождении Согласования для одного или более членов экипажа: 1. Активировать протокол «Тишина». 2. Вывести корвет «Немезида» на ударную позицию. 3. Осуществить поражение ядра объекта «Маяк» с использованием спецбоеприпасов.

И так далее. Шаги четвёртый через двенадцатый – координация с командованием (если связь доступна; если нет – действовать автономно), протокол отхода, порядок уничтожения всех данных, связанных с Согласованием, маршрут возвращения на «Диону». Последний пункт – одна строка: *Применение силы против кораблей UNSA – санкционировано при необходимости.*

Против кораблей UNSA. Против «Аргонавта». Против Корсаковой и её людей.

Вэй сидел в каюте – своей каюте, капитанской, которая отличалась от обычных только наличием рабочего стола вместо откидной полки и тем, что в ней можно было встать в полный рост, не задевая потолок. Два с половиной на три метра. Койка – убрана в стену. Стол – выдвинут, на нём – терминал с погашенным экраном. Стул – привинчен к палубе. Стены – голый металл, рёбра жёсткости, одна фотография в магнитной рамке: горы Хуаншань, утренний туман, сосны на скалах. Мать привезла из поездки, когда ему было двенадцать. Он взял фотографию на каждый корабль, на который назначался. Семь кораблей. Одна фотография. Она стёрлась по краям от перепадов давления и радиации.

Палуба «Немезиды» гудела – ниже, чем на «Аргонавте», ниже, чем на любом корабле, на котором Вэй служил. Реактор «Немезиды» был мощнее – военный класс, рассчитанный на одновременное питание двигателей и вооружения, – и его вибрация имела характер, который опытный офицер узнавал с закрытыми глазами. Низкий, ворчливый, настойчивый гул. Как большое животное, которое спит вполглаза.

Вэй не включал свет. Каюта была погружена в полумрак – только индикаторы на стенах: зелёные точки систем жизнеобеспечения, синий огонёк терминала в режиме ожидания, красная полоска аварийного люка. В полумраке лицо Вэя было лицом без возраста: впалые щёки, тонкие губы, прямой нос, тёмные глаза – глубоко посаженные, внимательные, из тех, что смотрят не на тебя, а сквозь. Сорок три года. Выглядел на пятьдесят – космос старил, особенно командиров, особенно тех, кто нёс приказы, о которых нельзя говорить.

Он думал.

Не о приказе – приказ был данностью, фактом, как гравитация. О нём не думают – его исполняют. Вэй думал о том, что стояло за приказом. О логике. О цепочке аргументов, которая привела кого-то в штабе UNSA – кого-то достаточно высокого, чтобы подписывать документы с грифом «Тишина», и достаточно умного, чтобы понимать, что он подписывает, – к решению: если дойдёт до Согласования, уничтожить.

Логика была простой. Настолько простой, что Вэй иногда проверял её – не потому что сомневался, а потому что простые логики чаще всего содержали скрытый изъян, и он хотел убедиться, что изъяна нет.

Шаг первый: Согласование необратимо. Нейронная перезапись. Нельзя откатить, нельзя отменить, нельзя «попробовать и вернуть». Раз – и навсегда.

Шаг второй: Согласование уничтожает способность к агрессии. Не снижает – уничтожает. Полностью. Необратимо.

Шаг третий: агрессия – основа обороноспособности. Не единственная, но основа. Без способности к агрессии человек не может воевать. Не «не хочет» – не может. Физически. Нейробиологически.

Шаг четвёртый: если человечество проходит Согласование, оно теряет способность воевать. Любое существо, любая цивилизация, любой астероид – угрожай, и защититься нечем. Не чем в смысле «нет оружия». Нечем в смысле «нет нейронного контура, который позволяет нажать на спуск».

Шаг пятый: галактика – не парк. Если Маяк существует, значит, существуют те, кто его создал. Если существуют создатели, значит, существуют и другие. Другие цивилизации, другие виды, другие правила. Кто гарантирует, что все они прошли Согласование? Кто гарантирует, что за дверью, которую Маяк обещает открыть, – не хищник?

Вывод: Согласование превращает человечество в безоружную добычу. Вежливую, мирную, «достаточную» – и беззащитную.

Мёртвый вид и кастрированный вид – какая разница?

Вэй сидел в темноте и проверял логику. Шаг за шагом. Как проверяют уравнение: каждое слагаемое, каждый знак, каждая скобка. Изъяна не было. Логика стояла – чистая, холодная, как сталь переборки за его спиной.

Были контраргументы. Он их знал.

Первый: «Согласование открывает доступ к галактическому сообществу – а значит, к союзникам, технологиям, защите». Может быть. Но «может быть» – не гарантия. Маяк предлагал пропуск – не контракт о безопасности. Что, если галактическое сообщество – это клуб для травоядных? Что, если хищники – не в клубе?

Второй: «Частичное Согласование может сохранить самозащиту». Может. А может – нет. Чен, нейрофизиолог – блестящий ум, по всем отзывам, – работал над этим. Но «блестящий ум» и «полная модель» – не одно и то же. Чен строил гипотезу на семидесяти процентах данных. Тридцать процентов – terra incognita. На тридцати процентах неизвестного строить будущее вида?

Третий: «Отказ от Согласования означает потерю контакта навсегда – или на двести тридцать миллионов лет». Да. Это – цена отказа. Высокая. Катастрофически высокая. Но Вэй был солдатом, а солдаты умели считать цену. Двести тридцать миллионов лет без контакта с галактикой – это трагедия. Человечество без способности защитить себя – это конец. Трагедия лучше конца.

Он не сомневался. Или сомневался – но сомнения были тихими, мелкими, как пузырьки воздуха в стакане воды. Они поднимались – и лопались, не достигая поверхности. Логика была слишком прочной. Приказ был слишком ясным. И он – Чжу Вэй, капитан-лейтенант Военно-космических сил UNSA, командир корвета «Немезида», двадцать один год выслуги – был тем, кто исполняет приказы. Не обсуждает. Не переосмысливает. Исполняет.

Потому что если каждый солдат начнёт решать, какие приказы исполнять, а какие – нет, структура рухнет. И когда структура рухнет – кто защитит тех, кто не может защитить себя?

Вэй встал. Медленно, как вставал всегда – экономя энергию, контролируя движение. В десятой g, которую давал двигатель «Немезиды» на крейсерском режиме, вставание было актом баланса: слишком резко – оторвёшься от палубы, слишком медленно – потеряешь ритм. Вэй вставал идеально. Двадцать один год практики.

Он подошёл к умывальнику – стальная раковина, вмонтированная в переборку, с водой, подающейся через дозатор. Нажал – струйка, тонкая, экономная. Холодная. Плеснул на лицо. Посмотрел в зеркало.

Лицо – знакомое. Худое. Виски – седые, хотя три месяца назад были чёрными. Мешки под глазами – хронические, от недосыпа и радиации, от рециркулированного воздуха и непрерывной вибрации. Губы – тонкие, сжатые. Глаза – тёмные, глубокие, спокойные.

Лицо человека, который несёт ядерные торпеды и знает, зачем.

Он вытер лицо полотенцем – жёстким, казённым, с логотипом UNSA. Надел китель. Застегнул каждую пуговицу. Поправил воротник. Посмотрел на часы: семь сорок пять. Через пятнадцать минут – Корсакова.

Шлюпка пристыковалась в семь пятьдесят восемь – на две минуты раньше оговорённого. Вэй отметил это: Корсакова приходила раньше. Не опаздывала, не приходила вовремя – раньше. Это говорило о ней: она хотела контролировать обстановку, осмотреться, оценить. Солдат. Настоящий.

Он встретил её у шлюза лично. Мог отправить вахтенного – протокол позволял, – но не стал. Это был жест: я уважаю вас настолько, чтобы встретить самому. Корсакова прочтёт этот жест. Она – из тех, кто читает.

Шлюз открылся. Корсакова шагнула на палубу «Немезиды» – магнитные ботинки щёлкнули о стальные полосы, коротко и чётко, как затвор. Она была в стандартном комбинезоне UNSA – серый, без нашивок, кроме «Кайроса» на плече. Волосы – короткие, тёмные, убраны под мягкий подшлемник. Лицо – жёсткое, внимательное, усталое. Глаза – серые, и в них – оценка. Мгновенная, профессиональная, автоматическая: коридор, переборки, камеры, выходы, углы, расстояния. Она оценивала «Немезиду» так же, как оценивала бы вражеский объект при абордаже. Не потому что считала корабль враждебным. Потому что не умела иначе.

– Капитан-лейтенант, – сказала она.

– Майор. Прошу – в мою каюту. Там мы будем одни.

Он повёл её по коридору второй палубы. Двадцать семь шагов – те же, что считала Нуо. Корсакова шла за ним, и он чувствовал её взгляд на спине – физически, как давление, как прицел. Она изучала его. Его походку (ровная, экономная), его плечи (прямые, но не напряжённые), его руки (вдоль тела, расслабленные, но готовые). Она читала его, как он читал приказ – строка за строкой, деталь за деталью.

Каюты. Мембрана закрылась. Два с половиной на три метра. Два человека. Полумрак – Вэй включил верхний свет, но оставил его на минимуме: привычка, экономия энергии, и – честнее: в полутьме лица говорят больше, чем на ярком свете.

– Чай? – спросил Вэй. – На «Немезиде» есть настоящий. Не порошок – листовой. Контрабанда с «Дионы». Старший механик Петров имеет связи.

– Спасибо.

Он достал термос из ниши – магнитный держатель, пристёгнутый к стене, – и налил в две кружки. Кружки – стальные, с крышками и соломинками, стандартные для невесомости, хотя при десятой g можно было пить и нормально. Чай был тёмный, горький, с запахом дыма – лапсанг сушонг, его единственная роскошь.

Корсакова взяла кружку. Понюхала. Не сказала ничего – но её лицо на долю секунды стало мягче. Человеческая реакция на человеческий запах в мире пластика и озона.

Они сидели. Вэй – на стуле, привинченном к палубе. Корсакова – на краю койки, которую он выдвинул для неё. Расстояние между ними – полтора метра. Достаточно для разговора. Достаточно для того, чтобы оба чувствовали себя... не комфортно. Настороженно.

Два солдата в тесной каюте, каждый из которых нёс нечто, о чём другой не знал. Или знал – но не говорил.

– Вы были внутри, – сказал Вэй. Не вопрос.

– Была. Дважды.

– Расскажите.

Корсакова рассказала. Коротко, точно, без лирики – как рапорт. Структура Маяка: фрактальная, адаптивная, живая. Подавляющее поле: градиентное, сильнее, чем ожидалось, направленное на агрессию. Инцидент с Рамиресом: мгновенное отключение, конвульсии, четыре часа без сознания. Существо: Энийя, «Согласованная», контактное лицо, коммуникация через интерфейс. Её слова – аграмматичные, нелинейные, чуждые. Её послание – «отдайте агрессию, станьте достаточными».

Вэй слушал. Не перебивал. Его лицо – неподвижное, контролируемое – не выдавало ничего. Но глаза двигались: от её лица к её рукам, от рук к плечам, от плеч – обратно к глазам. Он читал не слова – состояние. Корсакова была... изменённой. Не сломленной – она не из тех, кто ломается. Но – сдвинутой. Что-то внутри неё переместилось, и она ещё не нашла новое равновесие. Маяк тронул её. Не полем – пониманием. Она увидела что-то, что поставило под вопрос всё, на чём она стояла. И теперь стояла чуть менее уверенно.

Хорошо. Или плохо. В зависимости от того, в каком направлении она пойдёт.

– Чен работает над «частичным согласователем», – сказала Корсакова. – Идея в том, чтобы сохранить способность к самозащите, убрав проактивную агрессию. Теоретически.

– Теоретически, – повторил Вэй.

– Теоретически. Он сам говорит, что модель неполная. Семьдесят процентов.

– Тридцать процентов неизвестного – это много.

– Это всё, что у нас есть.

Пауза. Чай остывал в кружках – лапсанг терял аромат, превращаясь в просто горькую воду. «Немезида» гудела под ногами.

Вэй принял решение. Не сейчас – он принял его раньше, в темноте каюты, проверяя логику в пятый раз. Но сейчас он должен был начать. Осторожно. Как сапёр начинает работу: шаг, проверка, шаг.

– Майор. Я хочу обсудить с вами возможность, которую, вероятно, никто ещё не поднимал.

Корсакова посмотрела на него. Глаза – серые, прямые, оценивающие.

– Слушаю.

– «Суверенитет» – здесь. Три корвета. Вооружены. Их намерения мы не знаем, но можем предположить: они пришли не для исследований. Они пришли, чтобы контролировать ситуацию. Или уничтожить Маяк.

– Маяк неуничтожим снаружи. Оболочка поглощает энергию.

– Это данные Чена. Они могут быть неполными. Но допустим – да, снаружи невозможно. Что не мешает «Суверенитету» попытаться. Или – войти внутрь с зарядом.

Корсакова кивнула. Один раз. Коротко: да, это очевидный сценарий.

– Вопрос, – сказал Вэй, – не в том, что сделает «Суверенитет». Вопрос в том, что сделаем мы.

– Мы изучаем Маяк. Мы устанавливаем контакт. Мы собираем данные для решения.

– Решения – чьего? Земля – в восьмидесяти минутах. К тому времени, как наш рапорт дойдёт, будет обработан, обсужден в Совете Безопасности, и ответ вернётся – пройдёт минимум шесть часов. Шесть часов, в течение которых «Суверенитет» может сделать что угодно. И мы – что угодно.

– К чему вы ведёте, капитан-лейтенант?

Вэй отпил чай. Неторопливо. Каждый глоток – пауза, время для мысли, для выбора слова. Он был хирургом разговора: скальпель, зажим, стежок. Ни одного лишнего движения.

– Я веду к тому, что у нас должен быть план «Б», – сказал он. – План на случай, если Согласование окажется не тем, чем кажется. Или если Чен ошибается. Или если «Суверенитет» решит действовать. Или если Маяк... – он подбирал слово, – ...перестанет быть нейтральным.

– Какой план «Б»?

– Уничтожение. Изнутри, у ядра – если это единственный способ. Ядерный заряд, доставленный группой проникновения.

Тишина. Гул «Немезиды». Щелчок жизнеобеспечения. Где-то в глубине корабля – лязг магнитного крепления, которое ослабло и подтянулось автоматически.

Корсакова не вздрогнула. Не расширила глаза. Не выразила ничего – ни удивления, ни возмущения, ни согласия. Она слушала. Обработывала. Взвешивала.

– Вы предлагаете мне уничтожить Маяк, – сказала она. Ровно. Как констатацию погоды.

– Я предлагаю вам иметь возможность его уничтожить. Это не одно и то же. Возможность – не решение. Это страховка.

– Страховка – от чего?

– От ситуации, в которой Согласование принимается без надлежащего разрешения. Без мандата Земли. Без голосования. Без осознанного согласия восьми миллиардов людей, чью судьбу мы – тридцать человек – решаем в тысяче четырёхстах миллионах километров от дома.

Корсакова молчала. Вэй видел, как она думает – не по лицу (лицо было маской), а по рукам. Её пальцы – на кружке с чаем – чуть сдвинулись. Указательный постукивал по стали – медленно, ритмично, как метроном. Она считала. Не числа – аргументы.

– Это «Суверенитета» позиция, – сказала она наконец. – Или ваша?

Прямой вопрос. Вэй оценил: Корсакова не ходила вокруг. Она шла напрямик, как ходила по коридору «Аргонавта» – кратчайшим путём, без петель.

– Моя, – сказал он. – «Суверенитет» хочет уничтожить Маяк. Я хочу иметь возможность это сделать – если потребуется. Разница: они действуют из страха. Я – из предосторожности.

– Страх и предосторожность отличаются только тем, кто их описывает.

– Вы правы. Но результат отличается тоже. «Суверенитет» начнёт стрелять – скоро, через дни, может через часы. Они не дождутся данных, не дождутся контакта, не дождутся ничего. Они пришли решать, а не понимать. Мы – можем понимать. И при этом иметь запасной план.

Корсакова поставила кружку на выдвижную полку. Аккуратно, точно – магнитное дно прилипло к стальной поверхности.

– Вэй. Вы мне это говорите – зачем? Вы командир «Немезиды». У вас есть торпеды. Вам не нужно моё разрешение.

– Мне нужно ваше знание. Вы были внутри. Вы знаете структуру. Если потребуется доставить заряд к ядру – это задача для вашей группы, не для моих торпедистов.

– Моя группа не может функционировать внутри Маяка. Я вам только что об этом сказала.

– Я слышал. И именно поэтому я говорю – план «Б». Не план «А». Если всё пойдёт хорошо – Чен разберётся с Согласованием, Земля примет решение, мы выполним. Но если не пойдёт...

– Если не пойдёт – вы хотите, чтобы я повела людей к ядру с ядерным зарядом. Через поле, которое вырубает бойцов. К объекту, который мы не понимаем.

– Да.

Тишина.

Корсакова смотрела на Вэя. Вэй смотрел на Корсакову. Два солдата в каюте размером с платяной шкаф, между ними – полтора метра воздуха с привкусом озона и лапсанг сушонга, и в этих полутора метрах – вопрос, на который не было правильного ответа.

– Я не отвергаю, – сказала Корсакова. Медленно. Каждое слово – отдельно, как кирпич в кладке. – И не соглашаюсь. Мне нужно время. И данные. Чен ещё не закончил.

– Время – ресурс, которого у нас мало. «Суверенитет»—

– Я знаю. – Она встала. В низком потолке каюты – её макушка в сантиметрах от переборки, и это делало её больше, заполняющей пространство. – Я знаю про «Суверенитет». Я знаю про обратный отсчёт. Я знаю, что решения будут приниматься здесь, а не на Земле. Но я не буду принимать решение сейчас, на основании того, чего мы ещё не знаем. Дайте мне – дайте нам – время понять, с чем мы имеем дело. Потом поговорим о плане «Б».

Вэй кивнул. Коротко. Одним движением.

– Принято, майор.

Она шагнула к мембране. Остановилась.

– Вэй. Ваш план «Б» – он согласован с командованием?

Вопрос, который он ждал. Вопрос, на который у него был готовый ответ – вёрный, но не полный.

– Протокол «Омега» предусматривает уничтожение объекта при определённых условиях. Это – стандартная процедура UNSA для объектов неизвестного происхождения.

Стандартная процедура. Не ложь. Протокол «Омега» действительно существовал. Он просто не говорил ей, что его приказ – не «Омега». Его приказ был другим. Тише. Конкретнее. Персональнее.

Корсакова посмотрела на него. Три секунды – долго, в её метрике. Потом кивнула и вышла.

Мембрана закрылась. Вэй остался один.

Он допил чай. Холодный, горький, без аромата. Поставил кружку. Сел. Положил руки на стол – ладонями вниз, пальцы ровно, как перед клавишами пианино.

Он играл на пианино. Давно – в другой жизни, до академии, до космоса, до кораблей и приказов. Мать учила. У неё были длинные пальцы – его пальцы, те же – и она ставила их на клавиши и говорила: «Музыка – это контроль. Каждая нота – решение. Каждое решение – необратимо. Нажал – и звук ушёл. Не вернёшь.» Ему было семь. Он запомнил.

Каждое решение – необратимо.

Он убрал руки со стола. Встал. Проверил китель – каждая пуговица, каждый шов. Вышел.

Навигационный пост «Немезиды» – помещение на второй палубе, впритык к мостику, отделённое от него тонкой переборкой. Два рабочих места: главный навигатор и помощник. Экраны – четыре штуки, от стены до стены, каждый – орбитальная карта системы Сатурна в разных масштабах. На самом крупном – весь Сатурн: кольца, луны, орбиты. На самом мелком – ближняя зона: Маяк, «Аргонавт», «Немезида», и – три красных точки.

Нуо Синь сидела за главным постом – привязана ремнями к креслу, спина прямая, руки на консоли. Перед ней – экраны. Цифры. Координаты. Векторы. Числа – её язык, её мир, её правда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.